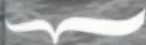


Борис
Иванов

СОЧИНЕНИЯ, Т.1

Жатва жертв



Новое
Литературное
Обозрение

Сочинения в двух томах



Новое
Литературное
Обозрение

Борис Иванов



Сочинения в двух томах
Том первый

Жатва жертв

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

МОСКВА 2009

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
И 20

Иванов Б.

И 20 **Сочинения в 2-х т. Т. 1: Жатва жертв** — М.: Новое литературное обозрение, 2009. — 272 с.

Борис Иванович Иванов — одна из центральных фигур в неофициальной культуре 1960—1980-х годов, бессменный издатель и редактор самиздатского журнала «Часы», собиратель людей и текстов, переговорщик с властью, тактик и стратег ленинградского литературного и философского андеграунда. Из-за невероятной общественной активности Иванова проза его, публиковавшаяся преимущественно в самиздате, оставалась в тени. Издание двухтомника «Жатва жертв» и «Невский зимой» исправляет положение.

Проза Иванова — это прежде всего человеческий опыт автора, умение слышать чужой голос, понять чужие судьбы. В его произведениях история, образ, фабула всегда достоверны и наделены обобщающим смыслом. Автор знакомит нас с реальными образами героев войны (цикл «Белый город», «До свидания, товарищи», «Матвей и Отто»), с жертвами «оттепельных надежд» («Подонок») и участниками культурного сопротивления десятилетий застоя — писателями и художниками («Ночь длинна и тиха, пастырь режет овец», «Медная лошадь и экскурсовод», «На отъезд любимого брата»). Главы из мемуаров «По ту сторону официальности» открывают малоизвестные стороны духовного сопротивления диктатуре.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-86793-666-2
ISBN 978-5-86793-668-6

© Б. Иванов. 2009
© Художественное оформление.
«Новое литературное обозрение», 2009

Белый город

ВСТУПЛЕНИЕ

Была ужасная пора...

А. Пушкин

Вы помните великий город в июле и августе, в июле и августе сорок первого года?.. Еще никто не предсказывал трагедию, но уже тогда можно было понять, что этот город способен совершить. Июль и август — это лишь миг, но достаточно протяженный, чтобы город мог понять себя.

Этот миг остановился над городом желтым солнцем, музыкой человеческих речей и теплыми ночами.

В полусумраке поднимались аэростаты, и эти красивые и ленивые животные добрыми Давидами дремали вместе с высокими облаками между городом и звездами, загорая живая небо. Город распахивал окна, слушал тишину, слушал себя.

По утрам трамваи, красные и пыльные, как помидоры на лотках продавцов, выходили из депо и сновали до поздней ночи, как челноки, ткущие пряжу будущего.

Звенели подковами военные — сильные и мужественные, шествовали летние женщины — загорелые и душистые.

С утра начиналось: «Разрешите? ...Пожалуйста», «Извините...» «Не придавайте этому значения...» — скромный язык городского братства.

В дни воздушных тревог продавцы оставались вежливыми, покупатели — терпеливыми, дети — фантазерами, какими и должны были быть, старики — снисходительными и мудрыми, какими их нельзя не жалеть и не любить.

Любовь познавала язык ожиданий. Дружба проверялась верностью.

Каждый поступок был значителен, как рассказанный в летописи, которую читаем через тысячу лет.

Все читали только хорошие книги и говорили только о том, о чем стоит говорить: о радости быть с другими.

Простая прогулка по городу становилась эпической.

...Дожди! По ночам дожди бродили по теплым крышам. Гудели водосточные трубы. Ветер с залива сушил город, как законченную прекрасную картину.

На окраинах стучали шатунами и перекликались гудками паровозы, дымили и гремели заводы... Казалось, вот-вот распахнутся старые заводские ворота — и вывезут бесконечно длинный стальной меч. Мечу будет тесно между домами, киосками, трамваями. Девочки хлопают в ладоши. Самыми серьезными будут мальчишки.

Молодцеватым лейтенантам в парках и скверах заворуженно внимали неуклюжие ополченцы. Ать-два, ать-два — ботинки, штиблеты, сандалии взбивали пыль дорожек. Они прокладывали тропы воинов по следу детских колясок и обручей.

Завывали сирены — трубный глас. Вы помните этот трубный глас в июле и августе сорок первого? Из кинотеатров выходили люди и стояли во дворах: курили, слушали, переговаривались. Эти перерывы, которые продолжались в тишине, были значительнее и осмысленнее недосмотренных фильмов.

Разговоры показались бы странными, если бы люди знали, что их ждет.

Но еще непонятнее стал бы город без этих разговоров, полных пауз.

Лошади беженцев на площадях великого города сорили сеном. Свидетелей пожаров и отступления — слушали.

Железнодорожные составы вбегали на разъездные пути вокзалов, простреленные пулеметными очередями и обвешанные пыльными ветками маскировки.

Пассажиры разносили по домам отчаянные слухи: армии, которые город должны были защитить, разбиты, — они искали и не находили в глазах горожан ответной смертельной тревоги.

Город никого не обвинял. Он был слишком могуч и велик, чтобы упрекать кого-нибудь. Он еще не знал, но уже готовился олицетворить судьбу целого народа.

Это действительно великий город на нашей немалой планете. Он останется в памяти навсегда, как Троя и Рим.

Перенесенный в будущее, он создал бы новую цивилизацию. Извлеченный из прошлого, он явил бы миру удивительную полноту жизни: усердие мясника, старающегося угодить хозяйственным матронам, и высокомерие поэта, живущего запрокинув голову, щебет детства и задумчивую старость. Город явил бы ту редкую ясность сознания, которое готово принять бытие таким, какое оно есть.

Но все проходит. Как прошло мгновение, как бы ни было оно протяженным: июль—август.

Предчувствия жертвенной судьбы уже одевали его в белые одежды.

Он должен был испить горькую чашу до дна.

За всю страну. За весь свой век.

МАЛЬЧИШКИ И ВОЙНА

Война шла уже третий месяц... Но войны еще не было.

Были газеты — сводки с фронтов на первой странице и плакаты, облепившие стены и двери домов, — палец указывал на прохожих: «Что ты сделал для фронта!» — были нервные очереди у магазинов, воздушные тревоги — как будто в каждый уголок города заглядывало плакатное лицо диктора и ухо твое оглушало: «Воздушная тревога! Воздушная тревога!..»

Генка целый день на улице. Осунулся. Глаза блестят.

Пожарники устанавливают на своей каланче пулемет.

В Таврическом саду маршируют ополченцы. «Танки! ...Танки!» — он слышит голоса мальчишек и бежит в дыму и грохоте за горячими машинами.

«Юнкерс» — бомбардировщик, «мессершмидт» — истребитель... Ружье с набалдашником на конце ствола —

противотанковое... Один кубик в петлице — командир взвода... От аэростатов толку мало... Иприт пахнет тухлым сеном... Он томится от знания вещей, запахов и правил войны.

В войне принимают участие взрослые, но толк в ней понимают только мальчишки.

Около булочной два пятиклассника за карманы галифе держат милиционера. «Таких толстых милиционеров не бывает», — говорит один. «Диверсант, — объясняет собравшимся прохожим другой. — Переодетый!»

Взрослые не знают, что делать. «Вы спросите, — наконец предлагает женщина с кошелкой, — спросите его о чем-нибудь».

— Где цирк? — ехидно спрашивает пятиклассник.

Толстый милиционер потеет и отвечает.

— Нет, нет, — разрезает толпу маленький человечек. — Где, скажите, уважаемый, если вы не шпион, Стремянная улица и как при царе называлась нынешняя улица Восстания. А ну-ка?

Толстый милиционер не знает, и толпа ведет милиционера в милицию. Вечерами Генка задумчив, слоняется возле дома, переживает услышанные разговоры, и, кажется, он угадает что-то главное в промелькнувших за день сотнях лиц.

Ополченец в пропотевшем пиджаке отдавал честь — «Плохо!» Подходит к чубатому лейтенанту снова. Снова плохо. Генка вспоминает и повторяет про себя: «Плохо».

Женщины с детскими колясками, кошелками, собаками.

Беженцы — их тихая, отвлеченная жизнь в телегах.

Грузовики, набитые людьми и узлами.

Мороженое и семечки.

Девчонки...

Они все красивые. Во всех влюбленный, он не знает, что со своей любовью делать.

Трамваи звенят, пыльные воробьи ворошатся возле унылых лошадей беженцев, народ разносит по домам, подъездам, квартирам картошку, помидоры, буханки хлеба, мыло.

В бомбоубежище прохладно и чисто. В углу инструменты домового музыкального кружка. Натянешь струну балалайки — бон-н-н-н...

Он замечает всё, Генку никто.

Длинные дни натягивают его нервы, и вечером в нем звенят ожидания.

ПОТЕРЯ БЕССМЕРТИЯ

Они едят без света. Голоса с улицы звучат в комнате ясно и близко.

— Скажите, пожалуйста, опять у Киселевых!.. Эй! Третий этаж, Киселевы!..

— И у Барсуковых свет... Тетя Маня!.. Восьмая квартира!..

Генка смотрит на мать, мать — на Генку. Полумрак сближает их. Они едят и смотрят друг на друга, как будто ничего не случилось. Но они знают: с л у ч и л о с ь — с ними ничего, а со всеми — да. Но об этом им нечего сказать друг другу.

Он промолчит про отца — казарма, где с ним еще недавно можно было увидеться, опустела, и никто не знает (и не должен знать), где он находится теперь. Мать ничего не говорит о дяде Коле — отчим отправляется на завод первым утренним трамваем и возвращается, когда город уже зашторил окна светомаскировкой, ужинает и засыпает.

Отец где-то там, на фронте, отчим — на «бронне» — разве это не веская причина отчима презирать... Но разве отчим не заслуживает уважения — он делает для Геннадия только хорошее... В конце концов, он, Генка, должен был видеть, что жизнь с его отцом было невозможно, сколько пьяных скандалов, дебошей... На эти темы они не говорят.

Это немой уговор. От этого молчания Генка вырослел.

— Это к нам, — говорит мать.

От звонка в дверь Генка тоже чего-то томительно ожидает. Он выходит в прихожую вместе с матерью.

— Баранникова, — сипит дворник Семен, — сегодня ваша очередь дежурствовать.

Семен любит мать. Генка чувствует это. Это хорошая любовь. Дворник моргает светлыми ресницами и улыбается; зимой он приносил вязанки лучших дров и не брал деньги. Вот и все.

— Противогаз наденьте, и вот — повязочка.

Мать больше месяца была на окопах и там увидела много беспорядка и несправедливости. Семен сочувствует, кивает и улыбается. Ему неизвестны слова, которыми можно выразить одновременно восхищение жиличкой Баранниковой и его просьбу быть дисциплинированной. Просьбу выражает смущенной улыбкой, свое чувство — словами с уменьшительными суффиксами.

— А Марковы дежурили? Они, я знаю, всегда отлынивают.

— Они вчера дежурствовали. Повязочку, Варвара Петровна, наденьте на правую ручку.

— Когда выходить?

— В десять, — отвечает за Семена Генка. Семен кивает. Они прекрасно понимают друг друга.

Дворник живет на первом этаже с окном на улицу. Генка не раз с любопытством заглядывал в жилище Семена, когда гладил его рыже-солнечную кошку. Ее любимая позиция — вскочить на подоконник и подставить свои зеленые глаза уличному бытию.

— Мама, на крышу я пойду с тобой.

Они возвращаются к себе в комнату. В коридоре стоит Зойка. Она длинная и невыносимо злая. Она презирает Генку за то, что он мальчишка, за то, что он переехал к ним в квартиру с какой-то Боровой улицы, и просто пото-

му, что ее мать *вагоновожатая* — ее ни на окопы, ни на дежурство на крыши никто послать не смеет. Она вышла в коридор, чтобы еще раз показать Генке свое презрение.

Генка любит Зойку, как и всех девчонок.

Помогал матери пробраться через тесное чердачное окно. Противогаз цеплялся, повязка сползла — на запястье как цыганский браслет. Поддерживая ноги, отворачивался. Мать, сдув пыль с еще теплых досок, опустилась на помост. Раскрасневшаяся, обтянула на коленях юбку и ждет, когда сын сядет рядом с нею.

Остывая, грохочет крыша. Где-то внизу гудят машины и трамваи, роняя длинные искры. Свистки дворников сюда доносятся, словно со дна ущелья. Голуби не преодолевают семиэтажную высоту этого самого высокого в квартале дома.

Огромный город тонет в сумерках и оседающей пыли.

Генка встал. Вытянулся тонкошеей птицей, застыл, втягивая прохладный воздух. На легкую свежесть, на головокружительную высоту ответило еще ни разу не переживаемое чувство счастливого восторга. Как хотелось крикнуть и оповестить об этом все окружающее. Был бы здесь один — не сдержался бы.

— Гена, мне холодно.

Им вдвоем всегда хорошо. Они прижались друг к другу плечами. Генка прилежно кусает протянутый бутерброд.

Друг другу они прощают все.

Тотчас уловили новый звук: включились тысячи репродукторов города. Только включили! Но тихое потрескивание уже наэлектризовало город.

— Воздушная тревога! Воздушная тревога...

Казалось, этот же диктор заревел сотнями остервенелых сирен. Загудели заводы, железные дороги — будто в пучину погружалась целая флотилия кораблей.

Мать схватила Генку за руку. Они встали. На крыше воздушный налет воспринимался иначе. В наступившей

тишине они почувствовали свое опасное одиночество — между ними и пропастью неба ничего не было.

Возник новый звук — тяжелый, недружелюбный. Но они тотчас забыли о нем. Ослепительно вспыхнули проектора, и вдруг белые волшебные шары повисли над городом.

Голубой мерцающий свет пал на разлив крыш. И там, и там цепочки разноцветных точек взлетели в небо.

— Ты посмотри, посмотри, — заговорил Генка.

Он никогда не видел свой город таким красивым. Он утратил каменную тяжесть — он клубился шпилями, плавился окнами — как будто тысячи глаз выглянули из домов, его отражение поплыло по водам. Город будто снялся с места и медленно завращался вокруг одной гигантской оси. Что-то пьянящее, праздничное было в кружении, в огнях, в нестерпимой красоте, от которой хотелось плакать.

Вот она, война!

Вот она какая!

— Смотри, смотри... — повторял мальчик.

Далеко блеснуло пламя и поднялось, наливаясь желтым заревом. По улицам глухо прокатился взрыв.

Тяжелый, завывающий звук нарастал и подкрадывался. Стали слышны залпы зениток. Снова ухнуло. Теперь ближе. Звонко и оглушительно ударила близкая зенитная батарея. Красота зрелища была нарушена — огни стали слишком яркими, звуки пронзительными.

Прямо над головой послышался свист. Свист нарастал с бешеной скоростью.словно тысячи разъяренных сви-ней неслись вниз

...на дом номер шестьдесят один...

...на крышу...

...на Генку и мать.

Они задохнулись в горячем ветре и кирпичной пыли. На миг в нестерпимом оранжевом свете Генка увидел бумажку от бутербродов, застывшее лицо матери, как на фотонегативе.

Страх пришел позднее, когда они бежали по чердаку, путаясь в лесу подпорок, ударяясь о балки, — не помнили, где дверь выводит на лестницу.

Потом бежали по лестнице. Двери квартир распахнуты. На пороге одной в синем маскировочном свете, вздыбив шерсть, орал котенок. ...Вниз! Вниз!

Наконец они нашли его... Генка уткнулся на ступеньке и закрыл голову руками. Он ничего не помнил, ни о чем не думал, он не мог дышать, он умер...

По стеклам, по обвалившейся штукатурке вверх бежали одни люди, вниз бежали другие. Мать тащила сына за руку. Генка упирался, он не понимал, куда и зачем нужно бежать.

В бомбоубежище весь дрожал — колени, губы...

Пять минут назад он был бессмертен. Не умирал даже во сне.

Они вернулись в квартиру под утро. Все уже знали, что бомбы попали в дом на Каляевой и на их улице — в пятьдесят седьмой. Многих людей завалило, улица полна пожарных.

В разбитые стекла сквозило. Несло паленым. С улицы доносился шум шагов. Где-то работали и перекликались...

В эту ночь была еще тревога. Генку будили, но он не встал.

Утром слышал шепот матери с отчимом. Она рассказывала ему всё с самого начала.

Но повторить ничего было уже нельзя.

ПОСЛЕДНИЙ УРОК

Генка чувствовал, что кто-то стоит в коридоре. Но он запрещает себе после первой бомбежки чего-нибудь бояться. Выставив руки, приближается к выходу на лестницу. Зойка могла бы предупредить, сказать, покашлять, как делают в таких случаях, — а получилось, Она пискнула, когда натолкнулся на нее.

— Вы куда — на улицу или с улицы? — не своим голо- сом спросил он девочку.

Говорит ей вы, потому что она к нему на вы обращает- ся.

— Куда?.. — фыркнула. — Куда как не в школу.

— Идите за мной. Здесь дверь. Иногда так пример- зает — не открыть. — На улице спросил: — По дороге в школу никогда вас не встречал, потому и спросил. Прав- да, в вашу школу я оформился недавно...

— Я не хотела ходить школу..

— И тебе разрешали сидеть дома?

— Вы, что, не знаете, у нас Танечка заболела!

Одновременно подумали о том, что говорят друг с дру- гом, как взрослые.

Генка покачал головой. Он вообще ничего про Павло- вых не знает. Даже когда видит дверь в их комнату откры- той, избегает в нее смотреть. Мать Зои — вагоновожатая, но что она делает сейчас, когда трамваи перестали ходить, он не знает. Про ее отца — флегматичного мужчину — мать говорила: он на фронте, снайпер. Его отпускают на сутки домой, когда он кого-нибудь подстрелит. Но не больно у него получается, проанализировал Генка. Только раз ви- дел заспанным на кухне. Взрослые Павловы кажутся Ген- ке непонятными и неинтересными. Была еще маленькая Таня, крикливая, большеротая, уже чем-то похожая на ба- бушку-вагоновожатую. Ее пеленки осенью сушились на кухне, в коридоре, в ванной, потом в квартире вдруг стало как-то тихо и голо.

Генка решил поддержать светский разговор.

— А как твоя мама?

Зоя фыркнула и стала рассказывать. Оказывается, ей тоже все не нравится и она всех презирает. Презирает мать, которая привыкла много есть, а теперь все время лежит, охает и думает только о еде. «Радовалась бы, — безжалост- но судит Зойка, — хоть похудеет до нормальности!» (В са- мом деле, Ироида Ивановна напоминала Генке большую,

неповоротливую речную баржу — но рассматривать ее круглое лицо было интересно — как географическая карта. Вот выпуклые светлые глаза, с каким-то на всю жизнь остановившимся выражением, — озера. Вот щеки, как сползающие с гор ледники. Вот всегда масляные губы — какие-то наивные, добродушные.) Зойка презирает и деда — эвакуировался с заводом, а их оставил без помощи.

Ночью была бомбежка. Бомбы падали где-то рядом. На улице Каляева рядом со школой угол шестиэтажного дома срезан до самой земли. Дружинники выбирают доски, балки на дрова. Проходим подходить запрещают.

«Я же говорил, — думает Генка, — прятаться в бомбоубежищах бесполезно. Что на втором этаже оставаться, что в подвале спастись — разницы никакой».

Ему жаль отчима. Полночи он простоял на холоде под аркой — по его мнению, это наиболее спасительное место при попадании в дом бомбы — а потом покорно пошел на работу.

Они смотрят на развалины, Зойка продолжает рассказывать. Генка узнает, что Танечка была отдана в круглосуточные ясли. А там детей заморозили. Два дня назад Ироида Ивановна принесла девочку домой с жаром и в беспомощности. Зойка сжимает кулачок: «Я бы этих нянечек убила бы!» Генка верит, что девочка могла бы это сделать.

Они расходятся. Зойка — остается на втором этаже, она — шестиклассница. Генка поднимается на третий этаж — там его 7-й класс.

В классе у него нет друзей. Он начинал учебный год в школе, в которой учился, когда жил с отцом. Теперь, когда трамваи перестали ходить, перевелся сюда. В старой школе учителя и ученики в последнее время лишь проводили время. Здесь соблюдалось расписание и выполнялись домашние задания. Парни приходят в школу в костюмах, с повязанным галстуком, девицы одеваются и держатся, как будто они уже взрослые... Мать старую шко-

лу Генки называла «шпанской». Во всяком случае там ни один пижон не рискнет появиться на занятия в «гаврилке» — так обзывает галстук школьная шантрапа.

Генка на последней парте сидит один. Учительница разрешает ученикам накинуть на плечи пальто. Писать они ничего не будут. Прислонившись к круглой печке, начинает рассказывать о романтической любви Тургенева и французской певицы Полины Виардо — история напоминает любовные музыкальные кинофильмы. Генка поджал под себя зябнувшие ноги и сомневается в том, что эта история имеет хоть какое-нибудь отношение к нему, к городу, к войне. Как тот запах, который ударил ему в нос, когда открыл флакон из-под старых духов в поисках пригодного для еды, — ни на что не похожий и ни на что не нужный.

Дверь класса открылась:

— Ирина Самойловна, извините. Позвольте войти?

Учительница замолкла. Она решает, насколько простителен проступок ее ученика.

— Боря, вы прервали наш урок. Мне неприятно вам делать замечание — вы всегда были организованы и дисциплинированы.

— Простите. Я не хотел опаздывать. Но, поверьте, только сейчас нас сняли пожарные. Без них мы не могли выйти из квартиры.

— Так расскажите нам, что с вами случилось.

— В наш дом попала бомба. Мы живем на пятом этаже, а бомба разорвалась на первом. Лестницы обвалились, в коридоре дырка от бомбы. Но через нее невозможно выбраться — потому что нижних этажей уже нет. В нашей квартире все качалось. Пожарные боялись представлять лестницу. Как только нас спустили, я сразу пошел на занятия.

— Хорошо, Боря. Садитесь. Мы сочувствуем вам, однако старайтесь все же в будущем не опаздывать. Я задаю себе вопрос, — учительница оторвалась от печки и, кута-

ясь в платок, заходила по классу, — ну, какое отношение имеет любовь двух людей, живших почти век назад, к нам сейчас, в такое ужасное время? — Генке показалось, что старая учительница подсмотрела его мысли и отвел глаза. — Я говорю об Иване Сергеевиче Тургеневе и Полине Виардо, — продолжила она. — И сама, молодые люди, на него ответчу: огромное. Если мы позволим этому, нашему, времени одержать победу над нами, над городом, культурой, тогда оно не только разрушит наши дома и библиотеки, но и сломает нас как людей, сделает духовными калекками на всю жизнь. Я уверена, что память о другом времени — созидательном, о времени высоких чувств, — а на уроках мы много говорили об этом, — поможет всем нам перенести тяжелые испытания...

Учительница, наверно, продолжила бы отвечать на свой вопрос, если бы в класс не проскользнул завуч школы и не прошептал бы что-то ей на ухо. Завуч ушел, а Ирина Самойловна, оглядывая учеников, продолжала молчать. Она должна была объявить, что школа с сегодняшнего дня закрывается на неопределенный срок, потому что классы нечем отапливать, болеют учителя и многие ученики. А это означает, что они, учителя, будут разделены со своими учениками и не смогут быть вместе с ними в трагические для города дни. И она сказала все это.

— А теперь вы можете получить в столовой порцию супа. Будет выдана не одна, как обычно, а две конфеты. О возобновлении работы школы узнаете по объявлению...

В коридоре Генка миновал группу своих одноклассников. «Панов!» — кто-то из них его окликнул.

— Панов, я хочу вам сказать, мне очень понравилось ваше сочинение... Неожиданное! Ирина Самойловна не стала читать его в классе — вы так сердито напали на Добролюбова! Но мне прочесть дала. Не выдавайте меня. Конец сочинения ее просто потряс. Там вы пишете: «Ответим прямо на вопрос. где мы ожидаем увидеть сейчас

“лишнего человека” офицера Печорина и где, как вы пишете, “великого критика” Н. Добролюбова? Мы знаем, такие “лишние люди”, как Печорин, в небе, на море, на полях сражений, не зная страха, не жалея своей крови, сейчас сражаются с врагами Родины. А где Добролюбов?.. Не видно критика. Укрылся где-то в тылу, броней загородился». Знаете, Панов, я тоже, когда читал статьи Добролюбова, не совсем понимал, как можно в одну компанию включить Печорина и барича и лентяя Обломова.

Зачем теперь об этом говорить, думает Генка. За месяц так много изменилось. Лермонтов, «Герой нашего времени», Печорин — и занудливый слабак Добролюбов, который, Генка уверен, мстил Лермонтову—Печорину за собственную недоделанность, как мог бы сказать отец. Он мог бы спросить Славика — так звал этого мальчика весь класс,— читал ли он «Аэлиту», но вместо этого, глядя на его осунувшееся лицо со слезящимися от волнения глазами, он думал о другом — неужели перед ним тот толстенький розовощекий мальчик, вечно тянущий руку на каждый вопрос учителей и полтора месяца назад ничего, кроме насмешки, у Генки не вызывавший! Толстяки, говорят, сейчас сильнее всех страдают от голода. Вот и Зоя сегодня об этом сказала.

На предложение дружбы Генка неопределенно покивал головой. Что, в самом деле, они будут делать вместе: мерзнуть, говорить про еду, торчать на глазах у родителей?.. Было лето, потом осень, потом с негодованием писал сочинение «Ответ критику Добролюбову», думая о своем отце, которого критик, наверно, тоже отнес бы к «лишним», — пьет, лезет в драки, «не нашел места в жизни», и представлял критика в облике отчима... Как все это было давно!.. Он сочиняет продолжение. Часто, когда, завернувшись с головой в одеяло, кажется, будто перед ним открыто продолжение «Героя нашего времени», от которой не оторваться, у нее уже другой герой...

В столовой теплее, чем в классе, — надышали, да из кухни тянет согретый воздух. Давно ли столовая в обед гудела, как пчелиный рой, теперь школьники терпеливо ждут, когда принесут тарелки с похлебкой. За соседним столом вполголоса ребята обсуждают вопрос: кто из одноклассников сможет, а кто не сможет выжить. Разговор суровый.

— Маркелов не выживет...

— Как сказать...

— Не как сказать — а факт. Он опухает. Я его видел.

— А Воронова?..

— Что за вопрос! Ты знаешь, кто у нее папа?!

— Я слышал, что Мальцева — наша «актриса» — плоха.

Понос.

— У «актрисы» понос?..

Славик прервал разговор. Запинаясь, с вызовом выкрикнул:

— Я не-не... вы-вы-живу, — и заплакал.

Никто не утешил его. Все молча ждали, когда он утихнет.

Разыгрался скандал. Нескольким ученикам не достались конфеты. С кухни вышли две учительницы: «Мы только что по счету выдали разносчикам по две конфеты на каждого присутствующего ученика. Кто взял чужие конфеты?» Учительницы стали обходить столы. Кто-то предложил счастливым обладателям двух конфет выделить по одной для пострадавших. Генка видел, как некоторые стали спешно запикивать свои конфеты в рот. В столовую вызвали завуча и директора школы. Они попытались найти выход из положения.

Один из десятиклассников всех перекричал:

— Я отдаю половину конфеты... Поможем нашим товарищам!

Генка понес сдавать половину своей конфеты. Другую половину он положил в рот на улице.

Сладкая шоколадная жижица потекла в желудок, желудок, как спящее животное, проснулся, больно забур-

лил. Генке казалось, что все частички конфеты немедленно, не откладывая, претворялись в кровь, в клетки тела. Он пережил возбуждение, как после вина, однажды выпитого; в действительности же лишь почувствовал себя таким, каким он был до наступления затяжных голодных зимних дней. Его мысли приобрели уверенность: «Славик мог бы подойти ко мне и предложить дружбу раньше. Что же он! Он правильно сказал: ему не выжить. Он был слишком толстым. И тратил зря калории. Но он не виноват. Не виноват. Хотя похож на Добролюбова. Но мог им и не стать. Теперь не станет...»

Остановился около руин разбомбленного дома, из груды кирпичей потянул доску. Доска не поддавалась. Попытался ее раскатать. «Ты что тут шакалишь!» — услышал за спиной голос. Генка, не оглядываясь, подхватил портфель и направился к родному, во дворе которого ему удавалось добывать полутораметровые дровины. Самое главное, чтобы не были заперты ворота.

Ворота были открыты. Когда-то здесь был сложен высокий штабель дров. Теперь под снегом осталось совсем немного — один-два ряда. Снег спрессовался, без лопаты рыть было трудно. Наконец один конец бревнышка подкапал. Подхватил снизу и дернул вверх. Что-то тряпичное показалось, и увидел: его руки обхватывали голову мертвого человека, припудренную изморозью.

День еще продолжался. В начинающихся сумерках за столом сегодня собираются втроем: отчим получил освобождение от работы, мать устроиться никуда не могла. Мальчик не решился сказать, что и он никому не нужен, — школа распустила своих учеников. На сегодняшний день выпало много неприятностей.

Мать принесла самовар. Пили кипяток, для вкуса подсоленный и подперченный, каждый со своей долькой хлеба. Генка подсматривал за своими руками, недавно держащими мертвую голову. Ему казалось, что заиндевялая голова сейчас тоже думает о нем.

ТАРЕЛКА СУПА

Сегодня у отчима первый с начала войны выходной день. Он спал ночь, утро и половину дня. Все чаще в комнату заходила Клава, поглядывала в угол комнаты на постель, окликала: «Николя!..»

Слова не преодолевают смертельную усталость брата.

Генка поднимал над книгой голову. Все, что вокруг него *здесь*, плохо: плохо в комнате — тесной, холодной; электричества, все знают, уже не будет; темное безлюдье в коридоре и на кухне; плохо на улице: от людей тесно, но они идут или стоят словно утомленные какой-то на всех одной мыслью. Он *там*, в романе, который пристроился читать у окна. И негодует, что *здесь* у него нет таких товарищей, как в романе, и враги здесь не подлые.

Разве все, кого он знает, не могли бы стать другими, не ходить бессмысленно по улицам, не сидеть зря на работе. Дядя Коля рассказывал: станки в цехах стоят, электроэнергии нет, водопровод замерз, заводские устраиваются по углам, чего-то ждут, а потом бредут по домам.

Поднимает голову над книгой и видит уже не марсианские пейзажи, а белый город, и кто-то — не то его отец, не то он сам — говорит какие-то слова о смелых воинах, о рыцарях, о Чапаеве... Нет, определенно, это он сам говорит слова о смелых воинах, вот сам ведет уличный народ в сражение, и что же оказалось... Оказалось, отец с другой стороны кольца поднял бойцов в атаку.

Ура! Ура! В окопы фашистов летят гранаты. Они вопят. Но где им выдержать штыковой бой. Он уже видит, как отец громит врагов автоматом. Но что это?! Один рыжий «фриц» сзади подкрался к отцу. Он хочет предупредить его. Но такой грохот... Тогда он берет фашиста на мушку — Пах! — враг убит. И вот они встречаются! Еще немного, и Генка всхлипнет от счастья. Отец обнимает мать; в стороне где-то отчим — он-то должен наконец понять, насколько ему далеко до Генкина отца. И где-то, конечно,

Зойка — да вот она! — смотрит на него из толпы влюбленными глазами. Но он ее намеренно не замечает. Раньше надо было смотреть...

Мальчик хочет прочесть «Аэлиту» до конца, пока глаза еще различают буквы. Вот уже буквы слились, но он уже знает: межпланетный корабль покидает далекую чужую, неприютную планету. С земли видна только яркая точка — там осталась Аэлита, там она посылает сигналы, на которые никогда и никто не ответит. НИКОГДА и НИКТО. У Генки перехватило горло. Он прижимает ладонями слезы к щекам. Он знает, что ему и отцу не прорваться сквозь блокаду навстречу друг другу. Но никто никогда не узнает об этом поражении.

Над подушкой показался нос и небритый подбородок отчима. Дядя Коля не спал. Хриплым голосом напомнил: «Геннадий, ты не забыл, что мама обещала нас накормить. Давай собираться».

Что ему собираться — надел пальтишко да шапку — и пошел!

Все равно он убежит на фронт. Плохо, что он забывает в последние дни копить хлеб для побега.

Клава ворвалась в комнату.

— Николая!... Николая!.. — обнимается с братом. Они не виделись целых два месяца. Только вчера ее бригаду распустили по домам. — Николая, ты не можешь себе даже представить, что только нам ни приходилось делать!

Клава всегда чем-то увлечена: новыми впечатлениями, книгами, слухами, мужчинами. Но главное пагубное ее увлечение, — высокие плечистые мужчины. Генке пришлось слышать ее разговор со своей матерью. Клава говорила: она не может полюбить мужчину-замухрышку. Но, когда видит крепкого рослого мужчину, в ней происходит что-то такое... Генка понимает — любовь. Мать отозвалась на признание свояченицы скептически: «Ну зачем тебе плечистый и рослый мужик! Вот у меня Ванюшка был — и видный, и четверо милиционеров не могли связать. А

жить было невозможно. Ищи тихого, заботливого, чтобы не пил и не гулял... Смотри, тебе уже двадцать семь лет, останешься старой девой.

Брат с трудом бреется: нет теплой воды, Клава рассказывает, как по десять часов копали щели, разбирали развалины домов.

— И представь, мне приходилось носить трупы... Но мы, интеллигенты, запрещали себе жаловаться...

— Знаешь, Ава (это ее семейное имя), ведь очень плохо, что вас распустили. (Отчим верно сказал — «очень плохо».) Я рад, конечно, что и нам разрешили провести дома два дня, но и это признак, что жизнь в городе все больше замирает. Ты об этом не думала?

— Я вернусь на работу в библиотеке...

Генка впервые увидел, как отчим может смеяться:

— Милая Ава, разве ты не знаешь, что за то время, пока вас держали на казарменном положении, люди перестали читать книги?

Неправда! — хотел крикнуть Генка. И хотя он не издал и звука, брат и сестра посмотрели на него. Клава спросила:

— Гена, как вам «Аэлита»?

Генка пожимает плечами — он не собирается со взрослыми обсуждать прочитанные книги. Ему кажется, что взрослые читают книги лишь для того, чтобы сказать потом о них что-то ужасно скучное.

— Вы читали приключения Рокамболя? Я буду завтра в библиотеке и могу для вас ее захватить. Ты говоришь мне спасибо?..

Отчим, тетя Клава, старая Прасковья Николаевна для Генки — чужие люди, он не хочет им нравиться. Генка кивает головой.

Отчим сказал сестре, что завтра его, может, навестит Гвоздев и что она может посидеть вместе ними. Клава вспышивает:

— Как Сергей Семенович переносит голод?

— Как все... Рассказал, на фронте убит его лучший друг. И много-много другого...

Клава возвратилась к себе. С матерью, Прасковьей Николаевной, они сидят в пальто, нахолившись, в полутьме, в разных концах комнаты. Клава беззвучно плачет, она знает, кто был лучшим другом Сергея Семеновича.

Прасковья Николаевна прячет руки в с дореволюционных времен сохранившуюся муфту. Уже несколько дней ожидает, когда Варвара примется с топором за дубовый старинный шкаф в прихожей. Тогда можно будет натопить печку.

В темноте отчим зажигает папиросу. Потом из соседней комнаты был слышен его голос:

— Маман, мы ушли... Да, с Геннадием... Да, я вернусь с Варварой... Закройте за нами. Мы будем стучать в дверь. Если хочешь, я покричу в окно.

На улице тьма. Белесый снег и между крыш — звезды. Аэлита — там, среди звезд. Она никогда не услышит ответ на свои сигналы.

Он никогда не полюбит отчима.

У этой зимы никогда не будет конца.

Те, кто сейчас идут по улицам, уже никогда не будут сытыми.

И ему не пробраться на фронт: пять минут на морозе и уже замерз в осеннем пальтишке и старых ботинках.

А люди идут и идут, идут на ощупь, идут как слепые, — по памяти. Молчаливое скрипучее передвижение по снегу. Лиц прохожих не различить. Ночной мороз начинает хватать за нос. С отчимом постоянно наталкиваются друг на друга.

— Тебя взять за руку? — спрашивает отчим.

— Нет, я сам.

Они идут в ресторан «Универсаль». И опаздывают. Генка подозревает, что все: и те, кого они обгоняют, и те, кто обгоняет их, — направляются туда же. Куда же еще, если

только там есть еда. Но в отличие от других, они знают магические слова. «Если вас не будут пускать, скажите швейцару: “Мы — к Варе”», — так их мать готовила к этому походу.

Кто-то впереди падает. Наверно, человек сумеет подняться. Или — ему помогут встать другие. Они проходят мимо.

Стеклянная дверь «Универсала» закрыта и обморожена. Еще несколько человек подставляют спину ветру и пробуют разглядеть через отогретый пяточок стекла, что внутри. Метель накрывает их. Генка притулился к стене и грезит. Он читал книгу о путешествии Скотта на Южный полюс. Тогда никто не вернулся назад. Снег, равнина, припасы съедены, ветер в лицо... Как все похоже!

Движение за дверью и вот — открылась. Пропустив выходящих, швейцар попытался перегородить дорогу окоченевшим новым посетителям. Взрослые еще препираются с швейцаром, а Генка уже за его спиной. Но здесь тоже очередь — на темной лестнице кто стоит, кто сидит — дожидаются свободных мест за столиками. У отчима появился собеседник.

— Да, до войны я бывал здесь, — слышит Генка. — Сюда приятно было зайти. Всегда были хорошие вина и хорошо готовили мясо.

— Я стараюсь не говорить о еде, — собеседник отчима делает паузу, чтобы помять подмороженный нос. — Эти разговоры делают нас еще более беззащитными. Вы не находите?

Потом они говорят о том, когда же все это кончится, о том, что лучше жить, ни на что не надеясь, о том, что такого развития событий не ожидал никто... Собеседник опустил на ступеньку лестницы. Попросил извинения:

— Я неважно себя чувствую...

Наметилось какое-то движение — и появилась мать. Она их искала. «Котя!.. Котя!» — позвал отчим. «Идите скорее!.. Почему не сказали мне, что вы уже здесь!.. Видите, что творится! Я не могу долго держать для вас места...»

Они, блатняки, поднялись по лестнице, смиренно перенесли ругань в спину.

От зловещего вида зала Генка вздрогнул. За десятками столиков сидели люди без голов — так казалось: дымящие площадки на столах оставляли лица в пугающей тени. Огромные тени перемещались по лепному потолку и стенам. Мать отвела их в угол. Отчим хотел оправдаться — но даже Генка понял, что здесь надо скрывать свою близость с обслуживающим персоналом.

Напряженная тишина, все головы были повернуты к двери, задернутой портьерой, — оттуда время от времени появлялись официантки с подносами.

— Вы давно тут сидите? — осведомился отчим.

— Около двух часов, — проскрипел мужчина, оказавшийся за одним с ними столиком. — Да, два часа. Сперва метрдотель объявил, не подали вовремя воду. А потом нашлась другая причина: сырые дрова. Дрова не горят. Но вот, начинают носить... Так что вас, — усмехнулся человек, — пристроили вовремя.

Николай Ефимович, кажется, понял, какую опасность представлял их сосед. Но ничего уже сделать было нельзя.

Мать появилась в облаке пара. Вид ее был странен: на короткую кофту, похожую на обрезанное пальто, был повязан грязноватый белый передник. От прежней формы на официантках оставался традиционный кокошник. Не сказав ни слова, на стол составила три тарелки и ушла.

Ресторан кормил затирухой: в подсоленный кипяток бросались муку или отруби — и затируха готова.

Они начали есть.

— Почему, объясните, у вас так много гуши, а у меня — одна вода. И у вас, и у этого мальчика?

— Вы так считаете, — отозвался отчим. Было видно, как ему трудно отрываться от еды.

— Я не «считаю», а вижу. Не-е-е-т, — угрожающе протянул человек, — так вам не пройдет. — Поднялся с места. — Где официантка? Где директор?.. Морят голодом людей... Я наведу порядок...

С криками человек пропал за дверями административной части ресторана. С соседнего стола поинтересовались, чего человек добивается.

— Ему показалось, нам дали порцию лучше, чем ему.

Суп был съеден. Мальчик чувствовал, что нужно немедленно встать и уйти. Дернул отчима за рукав.

— Да, мы уходим...

Но не успели. Показался скандалист, а за ним — исполненный своего значения директор в белоснежных халате и шапочке, позади всех следовала растерянная, но готовая к сражению мама.

— Вот, посмотрите, — человек стал плескать суп в тарелке. — Вода! А им... каша... Каждая калория на счету! А такие, как она, нас обкрадывают...

— Какая каша! Вы лжете, — выкрикнул отчим.

Директор поднятой рукой остановил ругань.

— Я не допущу скандала себя в ресторане. А вам поменяют порцию...

...Генка с Николаем Ефимовичем вышли из «Универсаля». Улицы стали пустынные, а мороз сильнее. После окончания смены с официанткой Баранниковой будет разговаривать директор.

— Геннадий, ты был прав: нам надо было бы уйти раньше.

Генка чуть не выкрикнул: «Что же вы — копуша!» Мать всех Баранниковых называла копушами.

И мужчина, и мальчик чувствовали себя виноватыми и униженными — суп у них был действительно гуще, а главное: они не сумели защитить женщину, старающуюся спасающую их, — двоих мужчин.

Из ночного разговора матери с отчимом Генка узнал: ее уволили.

Уволили потому, что на нее написана жалоба, потому, что после такой жалобы сейчас могут расстрелять, потому, что на службу приходит в нестираном переднике, потому что через неделю ресторан все равно будет закрыт.

Расстреляют и скандалиста: директор сказал, что заявит, куда следует, а там не любят тех, кто поднимает шум. Таких они убирают.

ВИЗИТ ИНЖЕНЕРА БАРАННИКОВА

Квартира, по-видимому, пуста, решил Николай Баранников, поэтому напрасно пытается пяткой валенка по-сильнее стукнуть в дверь. Жаль, если придется возвращаться домой, ничего не узнав.

...Утром просыпался и снова задремывал— не нужно бояться, что проспичь на работу, а в дороге на завод застрянешь в каком-нибудь бомбоубежище на часы, ожидая отбоя тревоги. Второй день умилялся возможности лежать утром в постели, растворяться в свободе от страхов и обязательств.

У него освобождение от работы: ослаб, аритмичный и повышенный пульс, дистрофический понос.

Но сегодня растормошила мысль: *надо навестить друга* — и друг у тебя один, и лучшей возможности увидеться, может случиться, уже не будет. А понос, кажется, уже прошел.

Они не виделись с конца лета. Кто тогда мог предвидеть наступление событий, ни на что не похожих и никого не минующих! Что с ним?.. Мысленный разговор с Вадимом Николай начал, как стал одеваться в дорогу.

«Эту зиму, Вадим, мало кто переживет. В цехе по утрам мы глазами пересчитываем друг друга, как табельщики преисподней. Нас удивляет не то, что человек умер, а то, что сами мы еще живы. Я благодарен судьбе — у меня есть Варвара. Она не жалуется и не спрашивает, что же с нами будет дальше?.. Смотрю на нее утром — и на что-то надеюсь, увижу после работы — и оправдан весь день. Если бы она сказала: “Какой ты мужчина! Ты не на что не годен!” — я не протянул бы и недели. Я виноват, что не могу найти выход. Но у меня нет сил даже погладить ее по плечу. Вы-

пью чай и отправлюсь к тебе. Хотел навестить тебя с Варварой, но она собралась кое-что постирать. В нашем аду, в котором не поджаривают, а замораживают, она еще помнит о чистоте...

...Тяжелая дверь отзывается глухо. Но Николай чувствует, что в квартире кто-то есть. Сквозь дверную щель курится тепло, как дыхание человека. «Вадим, послушай! Это я, Николай!.. Николай Ба-ран-ни-ков».

Послышался осторожный отзыв:

— Кто там? Что вам надо? — Без сомнения, это был голос Вадима.

Николай несколько раз повторяет свое имя. Но друг переспрашивает, не узнает его. «Очень жаль, Вадим. Очень жаль!»

Николай уверен, Вадим узнал его, но дверь решил не открывать. В головах произошли такие смещения, что лишь немногому из прежней жизни люди продолжают доверять. Жаль трудов на дорогу, жаль потерянного друга. Николай натянул шапку на голову поглубже, поискал вторую перчатку. Вдруг дверь отворилась:

— Ник!

— Да, Вадим. Ты не узнавал меня? И не ожидал, конечно...

Вадим втянул друга в квартиру, сделал знак, что лишний шум не нужен. Закрыл на засовы дверь.

В прихожую свет проникал через застекленную дверь в большую комнату, где когда-то — а, в общем, не так уж и давно — стелили на стол ватман, рисовали эскизы, обсуждали идеи. Прямо за окном по вечерам горела неоновая реклама: «Пейте Полюстрово — минеральную лечебную воду!» Они добавляли, когда пировали после защиты проекта: «И запивайте ее коньяком!»

— Я живу на кухне, — сухо объяснил Вадим.

Он оброс и будто вырос, но неловкость, которая не позволила Николаю обнять старого друга, требовала, на-

против, отдалиться, оглядеть приятеля внимательнее, потому что будто перед ним не Вадим Ведерников, но лишь его оболочка, — так бывает, когда видишь родственников, похожих друг на друга. Нужно было время привыкнуть к его нервным, длинным движениям на маленькой кухне и задать вопрос с невеселым интересом к себе: а как выгляжу я?..

На кухоньке гудела буржуйка, было тепло. От тепла Николай ежился, пьянел. Вспомнил:

— Ах, вот у меня что есть! — выложил на столик две сплюсненные папиросы. — А ты, я вижу, своих из города вывез. А я не успел. А возможность, кстати, была. Теперь поздно. Все поздно. Ты где служишь? Мои соседи говорили, что ко мне осенью приходил военный. Мы думали, ты. Не ты?.. Ты не в армии?.. Тебя отозвали из армии?.. Я рад, что застал тебя. У меня бюллетень. Удивляюсь, кто-то еще может на квартиру прийти и выписать бюллетень. Что происходит? Что с нами?.. Два дня назад иду на четвертый участок. Там давно никто не бывал. Никто не знает, есть там хоть один живой человек. Лестница обвалилась — попал снаряд. Одни проходы завалены, другие забиты досками от холода. Искал проход целый час. Нашел. Пусто, тихо. Потом вижу, что-то шевелится. Двое: токарь и мастер. Оказывается, эти двое продолжают выполнять заказ, который участок получил еще до войны: резьбовой переход. Я — не начальник, а просто — технолог. Я ничего не разрешаю и не запрещаю. Я только вижу. И вижу: мы все сошли с ума. Я говорю мастеру: выдайте мне цанговые патроны. Мастер говорит в рукавичку (холод): надо получить разрешение у начальника участка. Оказывается, в конторке обитает еще один дух. Дух отвечает: «Дать не могу, напишите требование на имя инструментального отдела, если отдел подпишет, никакой сложности тогда не будет». Я стою — и не могу понять то, что он сказал: какой сложности тогда не будет? Никакой сложности уже давно нет. Никакого инструментального отдела не существует. Инструмент ра-

зобран по бригадам, которые через пару недель растают. Его бывший начальник убит осколком бомбы...

До завода я прохожу пятнадцать трамвайных остановок и домой — пятнадцать. Нас идут тысячи. Я постоянно задавал себе вопрос: мы поддерживаем существование завода, или он — наше?.. Сидел на директорском совещании о подготовке завода к ремонту двигателей танков. «Можно вопрос?.. А кто будет работать?» Ответ: «Сейчас подвоз продовольствия в город увеличивается. Уже сейчас можно было бы повесить нормы выдачи по продовольственным карточкам. Но предварительно необходимо создать надежный запас». «Но» ведь тоже больше не существует. Что такое «но» для тех, кто неизбежно умрет через неделю или две. Какой у *запаса* смысл? Чтобы больше горожан «загнулось»!.. Мы несем за что-то кару — я согласен, хотя мне непонятно, за что несет кару Варвара, моя мать, собственно, и я. Но я знаю, смерть завшивевших, оступевших от голода и холода людей не может принести славу полководцам ни с той, ни с другой стороны. Это гибель Помпеи.

Может быть, все ты видишь иначе, чем я!.. Но я знаю, почему каждое утро я иду на завод. Каждое утро мне кажется, что я жил когда-то очень давно. И мне каждый день кто-то объясняет, где я и что я, вот рядом со мной — жена. Ее имя — Варвара. А там кровать для неродившейся девочки, которая должна быть, но ее нет и никогда не будет. А это Гена, сын Варвары, мой пасынок. Он меня не любит. Не знаю почему. «Котя, вставай!» — говорит Варвара. Я смотрю на нее и должен поверить, что когда-то она была красива. И начинаю припоминать. Я надеваю нынешнюю жизнь на себя, как надевают комбинезон. И вот что — чем больше горечи, тем больше гордости. Я никогда не был таким гордецом, чем сейчас. Я горд до комизма. Я понимаю город, молчание идущих. Они не могут выразить свою гордость иначе, чем молчанием...

Голос у Николая все чаще прерывается и становится все тише:

— Говорят, что город решено взорррр-в-в-ать. Чтобы оставить немцам только раз-в-в-в-а-а-лины. Людям дадут дополнительный па-а-е-к, и они с-с-с-де-ла-ют это. Ты ни-чего не можешь сказать мне по эт-т-то-му по-о-о-воду?..

Николай замолк, тяжело дышит и пробует найти в полутьме глаза своего друга.

— Извини, я закурю. У меня постоянно горит в горле.

— Как Варвара?

— Опухает Варвара... Собралась немного постирать... Закурил— легче стало... Она, как прежде, подает мне полотенце. Кладет в карман чистый платок, выстиранный неизвестно как. И выпрашивает на улице для меня табак — у солдат. Без нее я не прожил бы и недели... — Николай Баранников закашлялся. Глаза налились слезами. — Я з-з-знаю, она дож-ж-ж-ивет до весны и будет жить вечно, — дожить до старости в наше время, разве не прожить целую вечность!

— Ник, послушай меня! — Вадим придвинулся к другу. — Ты очень плох. Выпей чай. У меня есть лепешки.

— Позволь, я выкурю еще папироску.

— Да, конечно. Но послушай. Нам нужно найти выход. Мы еще можем вырваться отсюда. Немцы войдут в город, когда он станет пустой. Но у нас есть право на жизнь! И небольшие шансы все-таки есть. Подумаем вместе о спасении. Мы что-нибудь придумаем. Еще не все потеряно. Неужели нам больше не пить цинандали! А, Ник!

— Мне нужно идти, — четко, с внутренним упорством сказал Баранников. Улыбнулся темными зубами: — Раньше бы я вызвал такси. Я передам Варваре от тебя привет. Хорошо, что я застал тебя. Я понял тебя... Но ты еще не все понял. Каждый сейчас поступает единственно для себя возможным образом. Извини, но я не могу терять ни одного дня на твои надежды. Ты такой же неменяемый, как и я. Мы не знаем лучших путей, мы знаем только свой.

— Я тебя немного провожу.. Не возражай.

— Мне понравился твой чай. Ты его делаешь из лавровых листьев. Впрочем, я не знаю, есть ли лавровый лист у Варвары.

На улице февральская метель. За белыми хвостами вихрей они почти не видели друг друга. Нужно было бы кричать, если попробовали продолжить разговор. Где-то за белой кисеей рвались снаряды — и снег будто на миг останавливался в воздухе, когда слышался тяжелый, глухой удар. Болезненный, розовый цвет бросал вокруг одинокий горящий дом.

Ник слаб и неуклюж. Лицо побледнело от ветра. На углу улицы Вадим трясет его руку. Николай что-то говорит, но сам понимает: его не слышно. Перчаткой показывает на свое горло. Ведерникову показалось: на глазах Ника слезы. Он приблизился к нему, чтобы убедиться в этом. Да, конечно. Ведь они прощаются. Прощаются навсегда. Вадим вдруг вспомнил, как его друг выкрикнул однажды в споре: «Перестань мучить истину!..»

МИЛАЯ БАБУШКА

Пора было уходить. Зойка надела свое пальтишко, оно доходило ей только до колен, повязала вокруг головы платок.

Не платок это был, а часть Танькиного одеяла. И сейчас он пахнул ее проделками. А крикливой Таньки уже нет. Унес ее дворник Егор за триста граммов хлеба. Куда отнес? Должно быть, на кладбище.

Раньше он разносил по квартирам дрова — теперь уносит покойников.

Таньку, уложенную в крышку швейной зингеровской машины, унес под мышкой.

Надевала Зойка пальто, платок закручивала, а глаза все в комнату смотрели, на печку, на диван. Чисто у бабушки и стекла целые. Как прежде всё. И бабушка, комнату за-

гораживающая и свет, прежняя, довоенная совсем. Только губы у нее тонкие стали и глаза как бы в себя ушли.

Запрыгали у Зойки губы, всхлип прошел внутрь и остался там.

— А карточка где? — испугалась вдруг. — Бабушка, где карточка? — и снова расстегнулась.

Знает Зойка, где карточка, а ищет. Даже Танькино одеяло развязала.

— Вот!..

И бабушка посмотрела на хлебную карточку. Зойка клала ее в разные карманы и снова вытаскивала. А бабушка все стояла и смотрела своими новыми глазами.

— Я... пойду, — сказала Зойка.

— Иди, иди, — сказала бабушка.

— Бабушка, а мама очень плохая. Опухлая. У нее понос был. И я не доживу до весны... Солнышко бы дождаться. Я бы к тебе часто ходила... Только далеко теперь... Не дойду, боюсь.

Зойка все заглядывает бабушке в глаза и в комнату смотрит.

— А папка письмо прислал. Зайца мне нарисовал. Думает, что я еще маленькая. Бабушка, он тебе пишет?.. Тогда уж пойду...

— Иди уж...

Вышли они на темную лестницу. Страшно здесь Зойке стало: не узнает лестницу, по которой прежде много бегала. Обрадовалась — навстречу поднимался мальчик. Не узнать, но знакомый, наверно, — Вовка Родионов или Колька тети-Машин. Хотелось Зойке нос задрать, пройти хорошо, сказать при мальчишке бабушке про отца — снайпер он или про себя что-нибудь завидное.

Но не выговорилось ничего. Мальчик прошел мимо в сумраке лестницы как тень. Он тер боком известку лестницы и дышал шумно как-то.

На улице округлились у Зойки глаза. Отогрелость пропала. От мороза слезы потекли... Ставит ноги на снег и ви-

дит свои ступни далеко-далеко, как в самолете летит. А там внизу горы белые, тряпки паленые из под снега торчат.

Бойтся Зойка земли, мороза бойтся, бойтся ступней своих — маленьких, слабых, неустойчивых. Забора разобранного пугается. Забор на дрова разобрали, одни столбы кирпичные остались. Написано мелом «Саша +...», а кто в плюсе, на досках унесли.

Дом на углу страшный все ближе. Черный он, обгорелый. Кровать на четвертом этаже болтается... А бабушка чуть позади идет — провожает.

Оглянулась на бабушку, а та мимо смотрит. Глаза далекие, рот плохо закрывает.

А дом страшный все ближе. А за домом улицы, улицы, улицы... Пустые дома, баррикады, сугробы...

Остановилась бабушка — дальше идти Зойке одной.

— Бабушка, — кричит Зойка, — милая бабушка!.. Бабушка...

Текут слезы по Зойкиным щекам. Ищет глазами, не зная что...

И чего она, Зойка, такая длинная! И так далека земля от нее. И карточка у нее «иждивенческая».

Плывут боком над нею заиндевевшие, с фанерными глазами дома. Не узнает теперь бабушку довоенную. Остались только под носом темные усики.

Коленки больно режет лед. Кричит Зойка, разрываясь: — Милая бабушка, бабушка...

Сама она упала. Знает, что сама. Очень ей нужно посмотреть на бабушку с коленей, с земли... Не хочет Зойка жить. Нет у нее больше бабушки. Только улицы, улицы, улицы...

ЧЕЛОВЕК УХОДИТ

Отчим умер двадцать пятого февраля, в день рождения Генки.

В темноте над раскладушкой зашевелилось одеяло. Казалось, заползали под ним огромные вши. «Вар-вар-р-

р-а, — заклокотало в горле отчима, — Вар-вар-р-р-р», — будто терлись тесные, хриплые камни.

Вчера мать спросила у соседки: «Воши у Николая какие-то белые пошли...» Ответ Генка слышал: «Это перед смертью».

Вначале стало тяжелым зимнее пальто, в котором отчиму однажды не хватило сил дойти до завода. Вызванная медсестра попросила поднять подол ночной рубашки. Генка в блеклом свете дня увидел зябкую тощую спину мужчины в веснушках. Тогда же отчим сказал: «Вот здесь», показав язву на горле. «Алиментарная дистрофия 2-й степени», — написала медсестра в справке на освобождение от работы.

Не вши, которые почудились Генке, не хриплое клокотание в горле отчима ужаснули его, — он лежал на кровати рядом с матерью, их соединяло общее тепло, — на крик мужа она не отозвалась ни одним движением.

И, не видя лица отчима, не видя ничего, кроме серого пикейного одеяла, покрывающего всю грудь ватных пальто и одеял над одиноким там, на раскладушке, человеком, через жуткую неподвижность матери, он понял: отчим умирает, а мать уже простилась с ним.

Груда продолжала вздыматься, горло хрипеть, а мать — ждать...

Генка не заплакал, не зарыдал, в нем тоже все вдруг заклокотало. В маленьком человеческом вулкане были страх, любовь и свирепость волчонка.

Страх был всюду: в бесконечной ночи, уходящей за все горизонты, страх ходил ветром по опустошенным улицам, остановился в домах лесной тишиной.

Голова Генки каталась по подушке. Тело извивалось. Он больно ударялся коленями в спину матери, ослепительные пятна плыли в его высохших ожесточенных глазах. Он бился с невидимым врагом, который обступил его со всех сторон, — с обреченностью. И только любовь еще знала слова.

— Я люблю тебя, дядя Коля... Я же люблю тебя... люблю!..

Это было неправдой или было неправдой еще вчера. Он не любил этого человека на раскладушке.

Он не любил его слабых рук, щетину на щеке, не пробритой из-за экземы. И как он обнимал мать. Он отказался носить брюки, который дядя Коля купил ему. Он не любил его еще за то, что отец Генки был уже убит, а этот человек — жив, каждую воздушную тревогу предусмотрительно спускается по лестнице вниз и там терпеливо дожидается окончания налета.

Генка продолжал презирать отчима и тогда, когда он ослабел и перестал ходить на завод. И потом, когда тот начал мочиться в постель, уже не понимая, когда требуется горшок. И голос его виноватый: «Прости, Варвара, кажется я...» В накинутом на голову одеяле отчим часами стоял на коленях над горшком, старательный и интеллигентный.

Сейчас Генка любил его открыто и мужественно. Стоял босыми ногами на ледяном паркете, прикрывал локтем глаза и оплакивал мужчину, который мог осветить смыслом со всех сторон обступившую тьму. Он оплакивал мать, которая уже не могла любить...

Отчим утих. Мать проговорила:

— Нет теперь у нас дяди Коли...

Проскрипела дверь, Прасковья Евгеньевна встала на пороге.

Генка замер. Весь сопротивляясь чему-то, сжался. Но мать дяди Коли не нарушила того, что можно было нарушить. Дошла до сына. Что-то поправила, что-то проговорила ему треснувшим шепотом на ухо.

Генка понял, что и Прасковья Евгеньевна тоже приняла укор.

— Никогда, — сказала у дверей, — не будет у вас, Варвара, такого...

Мать плакала. Генку трясло от холода и слабости.

Дверь снова проскрипела. Шлепанцы прошаркали — и оставили тишину.

ГОСТЬ ОТТУДА

Себя видит в зеркале шкафа: вдавленная в подушку голова. Глаза опухли.

Генка похож на старого Бетховена.

Запустил пальцы в композиторские космы и вынул пук белобрых волос — цинга.

Репродуктор молчит. У холодной печки обломки кресла. На раскладушке отчим. Кажется, он продолжает жить, только иначе — беззвучно и незаметно.

Генка тратит много времени на проверку: поднимается или нет пикейное одеяло над грудью дяди Коли, действительно или так только кажется: над простынью, покрывающее его лицо, струится пар.

В начале недели сандружинницы увели Зойку. Она стала подолгу говорить на непонятном языке. Как уводили — видел.

Дружинницы в темноте искали выход из квартиры. Когда Генка открыл дверь в коридор, им стало светлее. Зойка ничего не сказала. Просто на него смотрела. Но Генка понял — она спрашивала: «Ты видишь, что со мной они делают?»

А это мать. Навстречу беличьей шубке протянул руку. Самому Генке рука кажется длинной и тонкой, как плеть. Ногти почему-то стали синими.

— Почему нет довеска? Ты не потеряла довесок!..

Мать собирает внутри печки костер. Выщипывает страницы из «Капитана Гатерасса». Она могла бы для растопки вырывать страницы из других книг.

Его теперь легко обидеть. Смирил и эту обиду, как многие другие, — закрыв глаза, одевается.

На собственной дощечке у печки режет хлеб. Своей ловкостью он сердит мать.

Сейчас ее сын в области цифр. Цифра сказочная. Крохотную пайку «иждивенца» рассекает на пятнадцать частей. Из ничего творит свое богатство. Липкие листки из

хлеба невозможно держать, но, когда на печке подсохнут, с ними уже ничего не случится.

Генка листки переворачивает, щупает, считает. Иногда ошибается. Тогда начинает пересчитывать их снова. Намоченный палец дежурит над раскаленным железом «буржуйки». Он успевает снять крошку прежде, чем она обуглится, и отправляет ее в рот.

Он не любит, когда мать начинает наблюдать за его занятием. Жалеет ее хлеб, который она ест, запивая кипятком. Она не понимает смысла увеличивающихся и уменьшающихся цифр.

Мать снова уходит.

Прежде она отправлялась к госпиталям — за картофельными очистками, к выгоревшим складам — за дурандой. Теперь очисток не бывает, а на складах даже земля, где лежали жмыхи, унесена в кошелках и съедена.

Теперь она уходит просто туда... Мороз, дневная луна, обходит падающих острыми коленками в снег.

Генке теперь не одолеть лестницы. Раньше уходил на улицу и он. Стоял у булочных. Там меняют хлеб на кулечек сахара, хлеб — на табак... Кто-нибудь стоит с салазками дров, за которые ожидает получить хоть что-нибудь.

Мать ушла, потому что ноги ее еще сильны.

Генка перебирает сухарики, как четки. В печке рассыпаются угли. Генка устал — устал сидеть, держать голову, утомлен стуком капель, сбегających с окна. Он как часовой, которого забыли сменить. На раскладушке, в ногах дяди Коли дремлет.

Его фигурка покачивается. Сейчас его лицо забыло о морщинах старого Бетховена. Его губы и кончики пальцев вздрагивают, как будто во сне пробуют сбегать в прежнюю жизнь — к теплу, к надежде, к защищенности.

Почти всегда Генка видит солнце — это от печки.

Почти всегда ему немного стыдно — потому что часто видит себя нагим.

И всегда улыбается — будто знает то, что известно ему одному. Это потому что он еще жив...

...Идут! Это еще во сне. Но знает: нечеловеческие шаги раздаются с лестницы.

Город шаркал, запинаясь, брел... Эти ноги давили ступени, пренебрегая их высотой и неровностями. Всё бесильно перед такими шагами.

К двери они приближались с заготовленным знанием. Кто-то в мире знал, где он.

Он укрыл свои сухарики дощечкой прежде, чем отворилась дверь, и стал спокоен, как человек, который сделал все, что мог.

В темноте — печка давно прогорела — мимо него прошуршало что-то большое и тяжелое. Оно оставило после себя клубы мороза и запах табака, остановилось у стола, треска промерзшим паркетом.

Воздушно миновала Генку шубка матери.

— У вас есть спички? — спросила.

Спичка взорвалась. Вверх вытянулся язычок копилки... Удивление поразило Генку.

Посреди комнаты стоял мужчина. В мехе ушанки пряталась металлическая звезда. Это его полушубок шуршал и скрипел под ремнями. Не гася спичку, солдат шурился в углы.

Он был настрожен, но не пуглив. Он пришел оттуда, где остался Генкин отец, где на снежных полях дерутся в овчинных доспехах. Гость знал свое назначение.

Солдат увидел Генку. Осмотрел без удовольствия. Но подросток не обиделся, не отвернулся. Он простил гостя с вещмешком, из которого выпирало дно консервной банки.

Гость берег свой свободный вечер — может быть, единственный, он слишком многое ожидал от него. И не хотел скрывать свои права. Генка понимал его и тоже ничего не скрывал. Наверно, так же он встретил бы и своего отца.

Голос матери нов, но она еще могла разговаривать с людьми, ни о чем их не упрашивая. Генка старался не смотреть на нее и на вещмешок, который боец держал в руках.

— Кто это? — спросил гость. И тотчас отдернул простыню с лица дяди Коли.

Задернул и стал уже уходить. Мальчик это понял раньше мужчины. Гость переступал ногами, мать что-то вполголоса говорила, но гостя уже здесь не было. С опущенной жесткой губой снова посмотрел на Генку.

Пошел к двери — и потянул за собой пламя коптилки. Мать пропустил вперед. Их шаги звучали все глуше и глуше и как-то иначе.

Генка не жесток. Он сидит в ногах дяди Коли и не запрещает человеку в ремнях — когда ему будет очень плохо, если больше ничего у него уже не осталось! — позвать: «Вар-вар-р-р-ра...»

Внизу хлопнула дверь. Мать возвращалась.

Перед зеркалом распустила косынку. Разожгла печку.

В зеленом вещмешке были огромные ржаные сухари, промасленный кирпич гречневого концентрата, жестянка с мясом. И пачка испанских сигарет: в рыжем мареве пустыни к горизонту идут верблюды.

Они не набросились на еду. Задумчиво смотрели на разложенное. Прислушивались к случившемуся разговору города — с человеком, живого — с мертвым мужчиной.

КАРТОЧКИ НА МАРТ

Они не спали всю ночь. Дядя Коля не то пукал, не то подсвистывал. «Это газы», — пояснила мать. И чуть свет ушла за хлебом, а Генка забылся. Забыл войну, забыл, что с матерью они теперь остались одни, забыл, что вчера ему исполнилось четырнадцать лет, — забылся и замер в ожидании скорого события, которое ничто не может остановить.

Что блокада! что немцы! У этого события, видится ему, широкое рыжее лицо, оно смотрит на Генку из-за снежной горы с улыбкой, от которой застит глаза. Осталось

претерпеть совсем немного. Вот тогда он проснется и проснутся все — весь город, всё живое...

Генка открыл глаза. На стене рыжее, веселое пятно.

Сегодня солнце нашло город, нашло их улицу, отразилось от дома, стоящего через улицу, и заглянуло сквозь намерзший на окнах лед в комнату. Лед на стеклах искрится, вот-вот поплывет — так было всегда раньше — до войны, до блокады.

До марта осталось всего два дня.

Наверно, те, кто встретит март, будут жить. Дядя Коля три дня не дожид до марта.

Ночью ушел и остался — он здесь, на раскладушке. Генка мог бы достать его, если бы свесился с кровати и протянул к нему руку.

В свете дня Генка не узнает отчима. На раскладушке со сбившимися тряпками лежал другой, чужой человек — седой старик с отросшей за ночь бородой. В щелку приподнятого века смотрел на Генку мутный глаз.

Варвара и Генка теперь завтракали вдвоем. Мать положила на стол хлеб, полученный на карточку мужа, и делит его на три части — на Генку, себя и Прасковью Евгеньевну — идет ее звать на поминки. Слышно, как в комнате свекрови начались препирательства. Прасковья Евгеньевна упрекала мать за то, что Варвара своего сына спасла, а ее сына — нет. Смерть ее сына — лишь ее горе и ни с кем делить его не станет. Варвара возвращается в гневе.

До вечера они не произнесли ни слова.

Вечером в постели мать в ухо Генке зашептала: им не повезло, если б умер Николай хотя бы одним днем позже, они бы получили его карточку на март. «Я виновата. Надо было раньше вызвать медсестру. Опоздала...»

Они говорили долго. Генка впервые участвовал в семейном совете.

Все упиралось в справку, которую выдают врачи или медсестры поликлиники, навещая по вызову больных.

По такой справке Варваре, как жене работника, в заводской канцелярии карточку выдавали. Теперь карточку не получить.

«Гена, на иждивенческих карточках нам с тобой март не протянуть». «Переживем», шепчет он. Мать отвечает: «Ты не понимаешь, я видела твои ноги. У тебя цинга... Николаша умер от цинги...»

Генка знает, у него цинга, у него лилового цвета голени на ногах, у него выпадают волосы, у него все время во рту вкус крови...

Стали говорить о справке. Выяснили, что справку написать несложно. Медсестра пишет ее от руки и диагноз всегда один и тот же — «алиментарная дистрофия». Все дело в печати, в простой печати — «Поликлиника» номер такой-то.

— Я сделаю печать, — решительно сказал Генка.

Мать задержала дыхание.

— ...Как? ...Когда! Завтра последний день.

— Утром.

Одно время мальчишки двора играли в «Остров сокровищ». Рисовались карты с указанием места закопанного клада. Когда Сашка Кулешов свою карту снабдил настоящей печатью — на печати название пиратского корабля, череп и перекрещенные кости — весь двор стал рисовать печати. Самым трудным было написать чернилами четким ровным шрифтом слова в зеркальном отражении.

Если подержать простую бумагу над паром, а затем прижать к ней рисунок печати, чернила переходят на влажную бумагу. Недостаток: больше двух-трех отчетливых отпечатков с такой печати сделать нельзя. Но Генке с матерью требовался отпечаток только один.

Утром встали вместе. «А меня не посадят?» — спросила мать. Генка вспыхнул: «Хорошо, я не буду печать делать!» и сбросил ботинки, чтобы вернуться в постель. «Вот-вот, ты весь пошел в отца!» — «Конечно, не в дядю Колю», — хотел сказать, но промолчал.

Потом оказалось, что мать сомневается, что правильно помнит номер поликлиники. Ушла узнавать номер, а Генка принялся за работу.

Самой подходящей бумагой для черчения оказалась оборотная сторона дореволюционных открыток. Их было у Баранниковых целая стопка. Прямоугольник сделался легко, а слово, всего одно простое слово, не получалось. Он делал одну ошибку за другой. То путал буквы, то забывал про зеркальное отображение. Отмороженные чернила на школьном перышке не держались — в самый ответственный момент клякса срывалась и все старания оказывались напрасными.

Мать сказала: «Ты всегда был неаккуратным».

Отец в подобном случае вставал грозно со стула, а мать уносилась на кухню.

Наконец сделал рисунок, лучше которого, он знал, у него не получится, — резало в глазах, рука не слушалась.

Нужно было еще нагреть воду, а время шло. «Я не успею, я не успею, заводоуправление будет закрыто...» — подгоняла мать. На дрова пошел старый фанерный чемодан. Над алюминиевой миской наконец стал подниматься пар. Мать на отдельном листочке уже написала образец. Через минуту печать на бумагу уже можно было ставить.

Получилось прилично. Но из-за спешки мать стала писать текст справки на еще не просохшей бумаге — чернила поползли. Нет, им карточки не получить, март не пережить. Мать и сын посмотрели друг на друга — будто прощались. Уже смирившись с поражением, повторили операцию. Получилось хуже, отпечаток вышел подозрительно бледным. Но мать уже одевалась.

Генка обложился подушками и стал ждать.

«Мама, помоги мне!» — шептала Варвара в дороге. Она знала: надо идти и идти, и больше ничего. В последнее время к ней вернулась девочкина память о годах гражданской войны. Тогда тоже выжить было нельзя. Хлеб — четвер-

тушка фунта на едока. Отец умер от голода. Спасаясь от холода, все спали в кухне на полу — сестра, брат и она. Мама уходила утром, и никто не знал, где она, что делает и вернется ли. Сестра Нюра к ночи начинала плакать— сперва тихо ныть, потом подвывать. Брат Гриша тыркал ее в спину.

Она приходила. Глаза матери сияли. Они обнимали ее и ругали. Она садилась на стул, опуская руки. Они все вместе растапливали печку, почти такую же, которая сейчас стоит дома. Они еще не знали — что там, в материнской сумке: жмых? кусок конины? узелок картошки?.. Однажды мама вытащила из кошелки полуобщипанного петуха. До сих пор Варвара не может вспомнить, почему они все смеялись, — смеялись, окружив тельце петуха. Были смешны его лапки со шпорами и скрюченными коготками, рубчатый гребешок, хвастливый хвост. Каждый хотел его потрогать, поддержать...

«...Мама, помоги мне!..»

Она прошла Сенную площадь, затем Никольскую церковь, и тут начался воздушный налет! Под аркой дома собралось несколько человек: ждали, когда тревога закончится. Варвара спросила, кто знает, сколько сейчас времени. Никто не ответил. Один мужчина высказал предположение: около шести часов. «Куда вы!» — крикнули ей в спину..

Бомбили завод Николая или что-то рядом с ним. Небо потемнело. В стороне что-то горело, тяжелый дым выносило на улицу, его черные космы цеплялись за крыши домов.

В проходной вахтер преградил дорогу. «Не пущу, заводоуправление закрывается. Придете завтра».

— Я — Баранникова, — сказала она решительно, напяливая всей своей многослойной одеждой на дистрофика в шинели. Пропуск Николая, она знала, еще не открывает ей дорогу на завод. Охранник должен был позвонить в бухгалтерию, назвать фамилию работника завода, чью продовольственную карточку идут получать, бухгалтер проверит по списку и лишь затем, после его звонка на

проходную, раздавалось «Проходите». Варвара чувствовала, что лапы несчастья уже стискивают их с Генкой.

Варвара поднырнула под расставленные руки вахтера и упала. Вахтер не в силах был ее поднять. Она встала сама и, не сказав ни слова, вошла на территорию завода. В заводоуправлении, где коридоры и лестницы теперь еле освещались несколькими дымящими фитилями, испугалась — не ошиблась ли лестницей, тот ли этаж! В коридорах безлюдье и уличный холод.

Слух уловил какой-то звук. «Мама, помоги мне!»

Ей стало жарко. В темноте пробовала читать таблички на дверях... Темнота и беспамятство. И все же она открыла ту дверь и в тот момент, когда бухгалтерша уже начала складывать бумаги.

Они сидели по разные стороны стола. Горела керосиновая лампа. Палец закутанной в платок женщины двигался по списку фамилий. Справку Варвара держала в руке. Что мне делать, думала она, если женщина скажет: «И на эту подделку вы хотите получить карточку!» — убежать? отдать половину карточки ей?.. В комнате за другим столом работала с бумагами другая женщина. Она покашляла и поторопила: «Всё! Петрова, надо закрывать».

Варвара заговорила, она тоже должна спешить, — ей идти через весь город, дома больной сын... Огонь керосиновой лампы заметался из стороны в сторону. «Вот! я вижу фамилию мужа — Баранников Николай Степанович. Смотрите: это его паспорт и пропуск на завод. Дайте мне расписаться... Справка? — Пожалуйста».

Справка ушла в ящик стола, из стола явилась на свет новенькая розоватая, разграфленная на талоны *рабочая* карточка — она казалась нарядной, как новогодняя открытка, и была дороже их двух иждивенческих карточек — Гены и ее. Вышла в коридор. От слабости ее качало. Конечно, ей нужно было взять с собой хотя бы корку хлеба.

У плошки с фитилем остановилась. На вкус проверила, что там в плошке горит. Какое-то растительное масло. Погасила фитиль и сглотнула масло. Направляясь к выходу, останавливалась у каждого фитилька и шла дальше, оставляя после себя темноту.

Генка начал провожать мать, как только она вышла из дома. Сейчас перейдет Чернышевский проспект — увидит у булочной обменщиков, возле пожарной части — караульного, — а вот пошли жилые дома, потом переулок с дурацким названием — Друскеникский. Он повернул бы в переулок — там сугробы, но путь короче, мать, он знает, пошла прямо на Литейный.

Его задача ничего не пропустить, все увидеть и предупредить: «Не спеши, не поскользнься, не уподи...» — так, ему кажется, матери идти легче, а ему — не так одиноко сидеть и ждать.

Генка проводил мать до Сенной площади, потом до Никольской церкви. Сюда он приходил с мальчишками смотреть на голубей. Ни в одном другом месте города голубей не кормили.

Загудел репродуктор. Так и есть — это воздушная тревога. Плохо! Справа канал, слева полуторазэтажный дом. Над головой голое небо. Надо бежать, а ноги не бегут. «Иди, иди, успеешь дойти до первого квартала», — сурово подбадривает Генка.

Весь превратился в слух. Уши как тарелка репродуктора. Доносится гул зенитной пальбы. В небе видит черные черточки «юнкерсов» и белые клочья разрывов зенитных снарядов. «Сейчас, сейчас...» — вжимает Генка голову в плечи. Взрывы не слышны, но земля вздрагивает. Смотрит на раскладушку. Дядя Коля теперь уже ничего не боится.

Время идет. Мать стоит в подъезде какого-нибудь дома. Она ожидает отбоя воздушной тревоги. Но отбоя нет. Ожидая его, Генка задремал.

Очнулся. За окном собирались сумерки. Потом стало темно.

Все это из-за справки, думает он. Ее задержали. Но *они* не посмеют ее расстрелять.

От ожиданий смертельно устал. Сполз с кровати. На полке нащупал спички.

Он остался один. Но еще не знает, что такое безнадежное одиночество.

Печка уже потрескивала, раскаляясь, когда на лестнице раздались шаги. Он хотел накричать на мать за то, что ходила так долго, и плакать от радости — она пришла.

Генка не шевельнулся. Мать, не раздеваясь, присела на кровать.

Она смотрела на Генку и думала, какой он, однако, бесчувственный. Весь в отца.

ВРАГИ

Немцы, в мышинного цвета шинелях, в суконных шапках с козырьками и опущенными ушами, сразу стали видны на полупустынной улице, живущей без слов, без единого малыша, без единой автомашины, без лиц в окнах, замкнутых глухим обледенением. Конвоиры, закинувшие автоматы за спину, никуда не спешили...

Врагов можно было просто оставить посреди проспекта. В капкане, который они создали для города и в который сами попали, перед смертью все были равны.

Было бы странным, если бы эти солдаты окруженного города и если бы эти пленные из солдат, окруживших город, стали бы требовать выполнения Женевских соглашений...

ЖЕНЩИНЫ

Уже давно у парадной своего дома стоит Мария — слишком миниатюрная, чтобы ее пугались, слишком

опрятная и сосредоточенная, чтобы счесть ее за потерявшую рассудок. Второй день ее мысли растерянно ищут сочувствие и содействие.

Мартовский вечер ярок. Воздух сиреневыми тоннелями стынет между домами. Рядом магазин. В магазин по ступенькам молча взбираются целеустремленные до ужаса люди. Еще недавно ей казалось, она знает всех живущих в квартале людей. Теперь никого не узнает — будто из квартир вышли люди, которые прежде их никогда не покидали.

С окраин города в центр переселили много людей — может быть, они принесли с собой это ожесточение.

«Боже мой!» — Мария узнала серое пальто, надетое на беличий полушубок, и вздернутый нос. Шагнула навстречу.

— Здравствуйте. Вы меня узнаете?..

Варвара с недоумением смотрела на маленькую женщину в фетровой шляпке.

Тонким, слабым голосом женщина стала убеждать Варвару, что только она может помочь ей и ее дочери, надежд на других людей не осталось, — здесь, у ворот дома, она мучается уже с утра.

Ее настойчивость настораживала.

— Кто вы? Что вы от меня хотите?

— Вы меня не узнаете? — огорчилась Мария. — Я тоже живу в этом доме — этажом выше. Наши мужья были знакомы. Мой муж вечером часто сидел перед домом с газетой. И я с ним. Вы приехали в наш дом недавно. Мы вас сразу заметили. Мой муж обожал красивых женщин. Я чувствовала, что вы ему нравитесь.

— Я вас припоминаю. У вас девочка.

Это было сказано равнодушно, но женщина с благодарностью посмотрела на Варвару.

— Меня зовут Мария Григорьевна... А вы, я знаю, Варвара Петровна?.. — Варвара кивнула. — Я не знаю, можем ли мы вас просить... Мой муж умер... — Варвара ждала, когда у женщины пройдет спазм горя. — Мы с Асенькой

должны его похоронить. Мы всегда жили замкнуто и теперь остались с доченькой совершенно одни...

Варвара сказала, что ее собеседница выглядит совсем неплохо. Это было похоже на обвинение. Мария Григорьевна заволновалась.

— Мы с Асенькой стараемся меньше пить воды. Это плохо действует на сердце. Владимира Васильевича сгубила цинга. И потому что до последнего дня много работал. Он был настоящим ученым.

Варвара сказала, что ученым «подбрасывают продукты».

— Это неправда, — возразила Мария Григорьевна. — Зачем так говорят! У мужа была «карточка» служащего. Может быть, ученым, работающим на военных, добавляют питание. Но мой муж — филолог. Он ничего не получал. Он готовил издание «Вед». Восточная филология...

«Зачем женщина мне это рассказывает. Не хватало, чтобы и я ей стала рассказывать о своем Николаше. О его заводе. Начнем друг другу с утра до вечера говорить, кто, почему и как умер. Я ничего не хочу знать о других. Никто не может нам с Геной помочь. И я не могу другим помочь тоже. Все это знают. Эта женщина — недоразумение. Жизнь прожила за спиной мужа, а теперь вышла на улицу. Тоже выбрала момент! Неужели она думает, что я или кто-нибудь другой может заменить ей мужа. Никто и никогда. Прасковья Евгеньевна правильно сказала: никогда у меня уже не будет такого друга, как Николай».

Варвара заплакала. Маленькая женщина обняла ее за талию.

— Дорогая Варвара Петровна, извините. Я расстроила вас. Не принимайте мою беду так близко к сердцу. Давайте поднимемся ко мне. У меня не так холодно и есть чай. Познакомьтесь с моей Асенькой... Вы нам поможете?.. Не откажите?..

— Не знаю...

Слово ХЛЕБ еще не было произнесено, но невидимый суфлер будто его произнес, как только женщины увидели друг друга. Мария Григорьевна заспешила:

— Поверьте, я заплачу. Хотите, мы пойдем с вами в булочную вместе! Ровно четыреста грамм!

Варвара вскинула голову. Она дала дворнику целый килограмм хлеба, а с Геной они получают хлеб, сколько женщина с девочкой. Гена, может быть, потому и слег, что одного дня без крошки во рту не выдержал.

— Хорошо, хорошо, Варвара Петровна, — полкило. Мы с Асей сэкономим.

— Не знаю, не знаю... — твердила Варвара, но пойти вслед за маленькой женщиной не отказалась — лишь не возвращаться домой, лишь не видеть, как угасает Гена. Сегодня ей достать ничего не удалось.

Владимир Васильевич в черном отглаженном костюме, при галстукe, лежал посередине комнаты на столе. Восковой лоб, впавшие виски, гордый нос... Покойник не будет слишком тяжелым, подумала Варвара, в рукава пиджака уходили тонкие высохшие руки, и шейка ученого — как у петуха.

Ее позвали к печке.

— Вам, Варвара Петровна, я завариваю горицвет. Помогает сердцу и почкам. Мой муж знал все лекарственные травы. Помните, как в аптеках все раскупали?.. Остались только травы. Наш Папа пошел по аптекам и накупил их целый рюкзак.

Ася присоединилась к ним. Девочка заимствовала у отца гордый носик, у мамы — цыганский цвет лица. Обхватив ладонями чашку, Варвара опустила лицо в душистый пар. Чужое горе словно размочило и разбавило ее несчастье. Мария Григорьевна начала рассказывать о муже.

Они могли бы уехать, но Владимира Васильевича в городе держали книги и архивы.

— А когда начался голод, он нам с Асей сказал: забудем, что мы в осаде. Скажем себе: «Мы сами решили здесь жить без электричества, без газет, недоедая... По доброй воле. Приняли такой обет. (Ведь так, Варвара Петровна,

на самом деле жили йоги в Индии, наши отшельники в лесах...) Чтобы своим духом победить свои слабости. Давайте, девочки, — он называл нас с Асенькой «девочками», — не будем жаловаться, покажем, мы сильнее...

Ася была недовольна, что мама пропустила эскимосов:

— Папа про эскимосов рассказывал, помнишь? Они зимой закрывают ярангу и не выходят из нее, пока из-за горизонта не появится солнце. «Никто ничего им не давал. А у нас карточки. Каждый день получаем маленький, но все же кусочек хлеба. Нам нужно радоваться...»

— Муж очень жалел, что в нашем городе людям не разъясняют, как нужно вести себя в трудных условиях. Люди ослабели, им нужно по радио напоминать правила поведения каждый день. Владимир Васильевич хотел помочь людям. На эту тему написал письмо и послал на радио. Оно называлось «Не паниковать и не отчаиваться». Мы его по радио не услышали.

Сменяя друг друга, Мария Григорьевна и Ася говорили о Папе, говорили для Варвары. Она понимала незаметность своего присутствия. И оказалось, что только сейчас она узнает, как жили в эти месяцы *другие*.

Вот Владимир Васильевич обивает двери старыми одеялами, а пол застилает оконными шторами. Чтобы не пропадала ни одна калория тепла. Варвара узнает, что еду здесь делили на три равные части. Ели в одно и то же время. А время показывали большие старые часы. Ели свои крохотные порции медленно, ни на что не отвлекаясь, — так рекомендовал Папа.

Однажды на глазах Аси мальчик вырвал у женщины хлеб. Девочка пришла домой рыдая: «Его били, а он продолжал есть, есть!» Владимир Васильевич спросил ее: «Ты могла мальчику помочь?» Ася ответила: «Нет». — «А женщине, которая осталась без хлеба?» — «Нет».

Папа объяснил: «Не следует говорить, да еще так эмоционально, о том, что ни ты, ни я с мамой не можем изменить. Мы не будем вырывать хлеб у других. Мы не

будем бить несчастных, у кого не осталось сил терпеть голод. Он нас попросил говорить только о важном, быть всегда друг к другу внимательными, не говорить слишком громко».

— У нас всегда было тихо. Асенька рисует или ведет дневник. Я вяжу или читаю. Владимир Васильевич работал. Писал. Переводил. Каждый день ходил в библиотеку.. Вдруг вернулся почему-то рано. «Что случилось?» — «В библиотеке все умерли». По вечерам читал «Дхаммападу» и по-русски нам пересказывал. Или японские сказки.

— Они очень смешные, — добавила Ася.

— Два дня назад читал нам японскую сказку о самом длинном имени. Мы с Асенькой улыбались — Владимир Васильевич ее нам уже переводил. И вдруг, понимаете, наш ужас. Он заговорил по-японски — не с нами! А с кем-то другим... И сердито так. На нашего Папу не похоже.

— Они всегда начинают сердиться, — добавила Варвара, — когда начинают чувствовать...

— Мы ничего ему не сказали. Ночью с Асенькой решили сделать так, чтобы ел он побольше. А утром Владимир Васильевич уже не проснулся... Вы не поверите, — опустив глаза, прошептала Мария Григорьевна, — вокруг столько несчастья, а мы были счастливы до последнего дня... Ася, я расскажу Варваре Петровне, что нас там ждет?.. — Ася кивает. — Асенька говорит, мы там встретимся. Там нет солнца и нет слов. Но и в полной темноте будем всегда знать: мы рядом, мы вместе... А сегодня нашли папино заветание. Он написал: мы должны обратиться к людям, мы должны жить. Я вышла на улицу.. И встретила вас. Это *он* вас послал нам...

Слезы, не спрашиваясь, бежали по лицу Варвары. Ей было жаль «девочек» и себя. Мужчины ушли от них.

Варвара сказала, что на кладбище за хлеб отвозил умерших дворник. Но говорят, вот уже неделю он не встает.

— Так вы тоже не спасли своего мужа!.. — догадалась Мария Григорьевна.

Варвара промолчала. Маленькая женщина еще не знала: большое горе забывается быстрее всего, чтобы потом...

— Ваш муж был замечательным человеком. Мы однажды встретили его на почте. Володя сказал: «Посмотри, какое доброе лицо у этого молодого человека!» У него было очень доброе интеллигентное лицо. Владимир Васильевич ведь был старше вашего мужа, и он мог его назвать молодым человеком... А ваш мальчик?

— Не встает мой Гена. Часами смотрит на потолок...

Впереди, пригибаясь, широким шагом идет Варвара. Влечет за собой санки с зашитым в простыни телом. За санками, чуть отступая, следуют маленькая женщина в черном и девочка лет двенадцати. Обе худенькие, смуглые, остроносенькие.

Маленькая похоронная процессия идет маршрутом, давно уже проложенным другими. Матери с дочерью иногда приходится, помогая друг другу, сани нагонять. Приблизившись к саням, снова переходят на согласованный шаг. «Что бы сказал нам Папа сейчас?», «Что посоветовал бы Владимир Васильевич нам делать дальше?» — так же согласованно текут их мысли.

Он сказал бы: «Ася, будь сдержанной».

Он сказал бы: «Не теряйте, девочки, присутствие духа».

«Мария, наша дочь должна учиться. У нее ясный, доверчивый ум».

«Папа, я всегда буду с мамой».

«Я всю жизнь посвящу Асеньке»...

ВЕСНОЙ

Вот уже месяц Генка вылезает из постели лишь для того, чтобы добраться до туалетного ведра или печки. Теперь на печке хлеб не сушит, а мог бы — из 250 граммов теперь — сделать сухариков великое множество.

Терпеливо дался врачу. У молодой женщины было много сил и мало интереса и к Генке, и к матери: для Генки мать ничего не сумела выпросить.

Терпеливо отнесся к новой неприятности — пролежням: кожа полопалась на бедрах, на коленях, на пятках. Раны подтекают, липнут к простыне; вши кишат в них.

Его тело больше принадлежит насекомым, чем ему самому. Больше с ними не борется — снимает и отпускает на промерзший пол лишь тогда, когда маленькие пираты забираются в брови и глазные впадины. На голених пошли лиловые пятна. Цинга тоже завоевывает его тело.

Тела осталось так мало, что голоду больше нечего в нем терзать. Оно больше не мешает ему жить ослепительно в своей постели. Медленные яркие видения, иногда протяженные в целый день, поглощают так, что задерживал дыхание, чтобы не спугнуть их. Однажды они осилили его.

Был ясный день. Солнце достало окно; с верхушки оконных стекол лед сполз. Рыжие пятна устроились на полу и столе — как рыжие кошки. Еле устояв на ногах, Генка достал с полки бумагу и акварельные краски. На кровати среди подушек устроил место. Получалось хорошо. Жалел, что ничего не может сделать с руками, которые оставляли на бумаге грязные полосы. Нарисовал озорного котенка, играющего с цветным шариком, потом дерево с длинной тенью, уходящей за горизонт.

В этой картинке чего-то недоставало...

Мать не ругала его. Она называла его «мой старичок». Генка соглашался: «Да, я старичок» — в зеркале шкафа мог рассмотреть маленького, обросшего, сморщенного человечка и не обижался. «Да, я старичок»: теперь он знает смысл происходящего, который известен только ему. Мать пришла с улицы взволнованная: «Ты слышал радио? Ты знаешь, что наши освобождают Ленинград! Уже слышно, как с той стороны стреляют».

Он мог бы сказать: «Как я мог не слышать радио, если оно у нас не выключается». По радио даже фамилию генерала назвали, — который ведет армию: — «Федюнинс-

кий». Выступали командиры, солдаты, политруки. Они поклялись не пожалеть своих жизней и прорвать кольцо блокады.

Генка вслушивался в наивные голоса сытых людей. Они говорили, как дети из младших классов, заучившие заданные стихотворения. Они ничего не знают — еще не знают, что им придется испытать, не знают, что в город им не пробиться. Не знают, что исправить ничего нельзя.

Приходили женщины, они тоже говорили: «Ждать теперь осталось недолго». Те, кто еще не брал по карточкам хлеб вперед, шли в булочную и брали. Генка жалел их, доверчивых.

Бодрые речи по радио с каждым днем звучали все реже и тише. Потом над армией сомкнулась тишина.

Однажды Прасковья Евгеньевна вошла в комнату. Лукавая улыбка блуждала по ее высохшему длинноносому лицу. Генка первый понял, что она безумна, но промолчал об этом и о том, как, юркнув в комнату, открыла шкаф и убежала, унося с собой что-то оставленное матерью к ужину. Он не испугался и не подумал о ней плохо — голод умертвил в ней стыд, за нее теперь стыдился он — и притворился спящим.

Зойку сандружинницы подобрали на улице, несколько дней подкармливали в лечебнице. Теперь отправляют на «большую землю»: в кузове машины, нагруженной вещами и людьми, пересечет по льду Ладожское озеро. Пришла прощаться. Говорила: «Что такое март? Тепло?.. Что такое Кострома? Город?.. Там лучше?.. Там хуже?..»

Под окнами остановилась машина. Зойку повели по коридору. Она продолжала говорить вопросительными предложениями: «Мы совсем уезжаем?.. Мы когда-нибудь вернемся?..»

Потом Генка увидел огромное ровное озеро. Снег был почему-то фиолетовым, а небо оранжевым. Самолеты, как

длинные плавные рыбы, бросали бомбы. Взрывы пенились и оставались стоять, как деревья, с длинными уходящими за горизонт тенями. Машина становилась все меньше и меньше и наконец пропала среди теней навсегда.

Его знание, его видения, его терпеливость никому не были интересны. Генка отдалялся от матери и ее знакомых, приносящих слухи и новости, и от этого страдал. Он жил неподвижно и торжественно — они суетились в немогущей борьбе.

Мать хотела чуда. Чуть не каждый день вдруг начала менять белье — грязное, завшивевшее бросала в угол коридора. Там росла гора полусмерзшихся простыней и наволочек, нижних и верхних рубашек. Ей казалось, что стоит обменивать часть хлеба на пару ложек сахара или жира, — к ним начнет возвращаться уходящая жизнь. Но вши быстро завоевывали новое пространство, а в сахар обменщики подмешивали соль. Жир со сковородки улетучивался белым паром — так исчезала надежда, что с лишней карточкой мужа они выкарабкаются.

Генка не мог уснуть, когда от маминых гостей услышал: люди стали есть людей. Подкарауливают и убивают. Чаще женщин и детей. Иногда прямо на улице отрезают части тела. Генка хотел бы узнать, какую часть тела они в тихом разговоре называли «филейной». Однажды — тогда еще был жив дядя Коля — мать принесла с базара несколько котлет. Они сразу поняли: это человечина. Генка представил людоеда: как он выжидает с топором жертву в темном переулке, как возится с трупом, как наполняет кастрюлю «филейными частями»... Мурашки пробежали по телу, когда подробности оживили эту картину. Но приказал воображению не отступать — идти дальше, дальше... И вот убийца погружает слюнявые зубы в волокна человеческого мяса... И тут началась тьма, в которую, Генка понял, войти можно, но выйти — уже нельзя.

Заканчивался март.

В углу комнаты соседка шептала матери: «Твой Гена не жилец, до тепла не доживет...» — говорила, а глаза на широком лице косились в его сторону, — казалось, она сама была смертью.

В мальчике всё дрогнуло: ОНИ НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ — увидел перед собою дорогу и столько простора, света, времени, что не хватало сил всё охватить...

БЕЗ ОЧЕРЕДИ

Варвара открыла дверь и сразу направилась к Генке. «Вставай, — приказала она. — Хватит лежать! Ты слышишь?» Одеяло потянула на себя. Завязалась борьба. Удерживать одеяло у Генки сил не хватило. Открылся его безобразный скелет с мокрыми ранами пролежней и расчесов. «Вставай, говорю! И не хнычь!» — «Перестань, перестань!» — кричал он.

Подхватив под мышками, решила его посадить. С ногами, опущенными на пол, он еле удерживал равновесие. Мать швыряла ему одежду, крича безумные глупости, которым не было конца.

Его тело завывало, заплакало в жажде жалости, и рубашка, которую он не мог натянуть, и сыплющиеся вши, и холод — все питало его протест. И тогда Варвара стала вдевать сына в рубашку, в рукава, в штаны, ругая и поддерживая, не давая упасть. Натянула на голову шапку, подняла на ноги и потащила к двери со злыми слезами.

Генка увидел улицу с серыми, словно сонными, редкими прохожими, низкое пасмурное небо и слепые окна домов. Только выше поднялись сугробы и ослаб мороз за тот месяц, который пролежал он в постели. Оказался на детских санках, впереди мелькали подошвы материнских бот.

Он не понимал, куда его везут и не длинным ли будет путь. Быстро простыло тонкое вытертое пальто, из которого давно вырос, и перчатки забыли натянуть ему на руки.

Скоро санки повернули к красному кирпичному дому. У подъезда мать подняла Генку на ноги. Он узнал: была поликлиника.

По коридору, мимо сидящих на скамейках закутанных мужчин и женщин, мать Генку провела молча, но он чувствовал ее страх и отчаянную решимость. Наверно, нужно притвориться больным, подумал он, так будет для меня лучше. Но что должен для этого сделать?

Мать протолкнула Генку в узкий врачебный кабинет. Здесь было тепло. При свете хорошо горящей керосиновой лампы голова врачихи сверкала сединой. «Гражданка!..» — лишь успела она возмущенно крикнуть, мать перебила ее, выставив Генку вперед: «Вы посмотрите, посмотрите на него! — сняла с сына шапку, чтобы обозреть можно было и вылезающие волосы, и мешки под глазами. — Вы посмотрите на его ноги...»

— Гражданка, мы не можем принять вашего сына. Все места заняты. Вы у нас не одни. Существует очередь...

— Очередь! Он у меня на очереди последний — вы понимаете или нет! Он у-ми-ра-ет...

Генка спиной оперся на стену. «Зачем она говорит: умирает. Зачем обманывает. Он вернется домой. Вернуться трудно — коридор, улица, лестница. Но я ведь всегда был выносливый, терпеливый. Я быстрее всех бегал в классе...» Мать бросилась к двери:

— Я не хочу, чтобы мой сын умирал на моих глазах. Пусть умрет у вас, у вас. Я больше не могу..

— Гражданка! Гражданка! — закричала врачиха вслед. Медсестра отправилась за матерью.

Врачиха стала говорить, глядя в бумаги, что у людей нет сознательности, они думают только о себе и больше ничего знать не хотят. Генка по стенке стал осторожно опускаться на пол — ноги не держали его. Но и сидеть он не мог — кости прорывались в пролежни. Лег на пол в спокойную тень от стола. Тонкая пыль потекла в ноздри.

Медсестра вернулась разгневанной:

— Убежала! Бросила сына — и ушла. Мать — называется.

Воцарилась тишина. Потрескивал фитиль лампы. За дверью в коридоре закричал с плачем мужчина. Мимо Генки прометнулся халат медсестры. И раздалось:

— Как вам не стыдно! Вы же мужчина! Постыдились бы женщин...

Когда сестра вернулась, врачаха сказала:

— Отнесите мальчика в бокс.

В боксе его обмыли в чуть теплой ванне, волосы сняли машинкой, обрядили в больничное белье. На улице было темно, когда Генку положили на крайнюю койку в большой странной палате — вдоль всей стены тянулась высокая шведская стенка. Над ним теперь не было тяжелой кипы одеял и пальто.

В дальнем краю палаты на тумбочке горела свечка. Там сидела женщина в белом халате, разговаривая с лежащим больным. Они говорили, как люди, счастливые тем, что у них нет друг для друга тайн. Генка засыпал, глядя на огонек свечки, зная, что взрослый сын женщины умрет, и нет на свете ничего, что могло разрешить им остаться такими счастливыми.

В СТАЦИОНАРЕ

1

«Медсестрам сказали, что я подброшенный. Я видел, как они обсуждали мою историю появления в стационаре. Они не любят меня. Приносят еду — зырк! зырк! по сторонам, в лицо не смотрят. Поставили тарелку — и дальше. Может быть, они вообще никого в палате не любят. Ни с кем не говорят. Больше внимания к тем, кто не ходит в туалет. Я хожу.

Первые два дня спал, а может быть, не спал — можно просто отсутствовать. Сестра, еду разносящая, присмот-

рится — жив ты еще или уже загнулся, толкнет. Не успеешь удивиться: как?! Есть еще на свете люди — булку едят, бульон, мясом пахнувший!.. Съел и началась дремота, глупая, как смерть. Потому сестры и проверяют.

Вечером на третий день собрался сходить в уборную, но сразу не решился: встал — качает так, что можно грохнуться. И уткой не хочу пользоваться. Буду терпеть. Терпел. Потом пошел. В коридоре от стены отталкивался. А туалет оказался по другую сторону коридора. Чуть назад не повернул, как представил, равновесие теряю и на этот пол валюсь. А это не снег, а камень плиточный — кости рассыплются!

В палате я самый младший, если не считать одного мальчика. Он здоров, ему скучно среди доходяг. Не выдерживает: вскакивает с койки и бегом к шведской стенке. Но делать на ней ничего не умеет. Был бы я здоров, показал бы, какие вещи на ней можно делать. Остальные меня постарше — лет семнадцать-восемнадцать. А тот больной, к которому каждый вечер приходит мать, совсем взрослый.

Еды дают мало, но я поправляюсь. На табурете, возле двери палаты, стоит большая бутылка. В ней хвойный настой. Каждому разрешается — даже поощряется — этот настой пить. Я иду в туалет и выпиваю стакан этой зеленой горько-смоляной воды. Больше не выпить.

Главное — раны и язвы стали сохнуть, на их месте появилась розовая кожа — как заплатки. Мне бы хотелось обо всем этом рассказать матери.

Сегодня к вечеру был артобстрел нашего района. Больные зашевелились, смотрят на дверь. Ни одной сестры! — и правильно, если сюда шарахнет, сестра не поможет.

Здесь никто ни с кем не разговаривает.

На завтрак дали яйцо. Я бы половинку отдал матери.

Мне кажется, я живу здесь давно. Был маленький — а потом живу здесь. Больше всего помнится: раньше на мне жили вши...

В ужин нянечка принесла записку от матери. «Дорогой Басинька, не беспокойся обо мне. Тебе нужно окрепнуть — это самое главное. Клава умерла. Похоронить еще не могу. На улице с каждым днем теплее. Я плачу, когда думаю, что с тобой мы остались совсем одни. Я завтра приду под лестницу в три часа. Покажись, если начал ходить. Твоя мама».

Записка пахнет дымом и матерью.

2

Генка выходит в коридор. Его лучше не трогать. В его теле глухая страсть. Если поперек коридора поставить стену, он умрет подле ее, как погибает рыба, не пускаемая к нерестилищу. Медсестры расставляют руки: «Больной, подходить к лестнице нельзя! Ты хочешь, чтобы тебя выписали!» Генка обходит их. Он слишком занят, чтобы отвечать на их запреты, — каждый маневр ему дается с трудом.

Каждый день в три часа останавливается у перил и смотрит вниз.

Стационар на последнем третьем этаже. На первом этаже — вестибюль поликлиники. Оттуда тянет холодным сквозняком. Сверху видны только головы: в шапках, косынках, платках. Бредут одиночки, ведут доходяг. Заносят ногами с улицы снег.

Здесь беспокойное место. Сквозняк продувает изношенный больничный халатик. И не бывает так, чтобы внизу не произошло событие, — а иногда два, а то и три. Кто-то не выдержал: в больницу не взяли, кто-то уже не может объяснить медсестре, что с ним, — а только после объяснений, сестра пускает к врачу в кабинет, кто-то понял, что уже никто и ничто ему не поможет, — и начина-

ются рыдания, в которых Генка слышит и ненависть к другим, которые не могут быть более достойными сострадания, чем он, и непоправимое одиночество, и притворство, потому что человеку не дано знать предела страданий, но лишь изобразить его.

Врачи из сотни выберут одного-двух. Медсестры вознесут их на носилках в палаты стационара. Генка — этот одряхлевший от истощения пророк — сверху увидит чужое лицо, которые долго не покинет его память, и станет решать: выдвет лили отмеченный случаем человек.

Серый платок матери узнает сразу. Она останавливается, поднимает лицо, улыбается опухшими, мокрыми от слез глазами. Ее жалость к Генке безгранична — усталая и больная, она будет продолжать жалеть его до последних дней своей жизни, а Генка — сжимать губы, потому что именно материнская жалость дает ему почувствовать самого себя.

В его руке пакетик, в котором всё — п о л о в и н к и, — половина мясного биточка, половина кусочка булки, фрикаделька, выловленная из супа, половина сахарного песка, который выдают утром... Иногда ему удается найти тесемку или нитку — обвязать посылку, иногда у него нет ничего, кроме газетной размокающей бумаги. Но в любом случае он должен отослать матери свою половинку. Пакетик летит вниз, разбивается, мать собирает, что можно собрать. Он снова видит ее лицо, что-то хочет ему сказать, почти ничего он не слышит; почти всегда внизу появляются белые халаты, которые оттесняют мать к выходу. Нянечка принесла Генке записку:

«Басинька! Ты отрываешь от себя необходимое, а тебе — жить. Много говорят о прибавлении норм к 1 мая. Прочитала объявление: в ремесленные училище принимают подростков с 14 лет. Питание по рабочей карточке, одевают. Самое главное, чтобы тебя подправили. Не помню, писала тебе, что Клава умерла. Похоронить еще не могу.

Мама».

В палате полутьма. Генка проснулся. Медсестры бесшумно, как тени, разносят завтрак. Когда медсестра на тумбочку расставила: блюдо каши, два кусочка булки и фунтик сахарного песка, Генка все вспомнил и постарался заглянуть ей в глаза. Их взгляды не встретились — какое ей дело до одного из доходяг, облысевшего от цинги. Но Генка понял: эта молчаливая, сосредоточенная на чем-то своем женщина могла это сделать и она это сделала. И если не поторопился в том убедиться, то только из мудрой предосторожности: не нужно терять сразу всё, лучше всё терять понемногу.

Завтрак еще не закончился, в палату вошла и к нему направилась докторша. Пододвинула к кровати стул, теплыми руками нащупала пульс. Затем подняла одеяло, бросила взгляд на язвы, затянувшиеся лиловой кожицей, назвала по фамилии и сказала, что сегодня его выписывают. Мать уже вызвана. Ему нужно спуститься в бокс, там оденется во все домашнее. И все-таки Генка еще надеялся, запуская руку под подушку, — его сокровище цело.

Нет, шарить было бесполезно. Медсестра еще вчера знала, что утром его выпишут, ночью вытащила из-под его подушки сахар, м н о г о сахара, двести грамм сахара — весь паек сахара последних дней. Накопил его, потому что пакетики с сахарным песком разбивались, и мать, он видел, каждый раз встает на колени и пытается сгрести его вместе со снегом. Ночью открыл глаза: прямо над ним белело взрослое лицо и чувствовал движение чужой руки под подушкой. Он выбрал сон, потому что даже страшный сон был лучше страшной яви.

Он, обкраденный, не станет вопить и жаловаться. Он имеет полное право презирать тех, кто отвечает за справедливость. Когда на носилках его принесли в палату две недели назад, все, кого он в ней видит, уже были здесь, но его выписывают первым. Его изгоняют за то, что они с ним ничего не могли сделать. Они же, не пуская его к лестнице, кричали: «Больной, это нельзя делать!», «Больной,

мы тебя выпишем!» А он не мог им объяснить, почему он это делал. Вот и все. Он не нужен здесь такой. Назидание не помогает таким. Его надо скорее выписать. Обворовать и выписать.

Потом в стационаре будут пересказывать, как одна женщина подбросила чужого ребенка в стационар (у Генки и матери были разные фамилии) с тем, чтобы в стационаре сам подкормился и, по уговору, с нею бы делился. «Надо же так придумать! Хитрая женщина!..»

ТРАМВАИ ПОШЛИ

На теневой стороне улицы приморозок, на солнечной — от стен домов идет тепло, да и асфальт здесь подсох. Уже обутые в боксе новые ботинки — неизвестно, как их достала мать, — намекнули на праздничность наступившего дня. Праздник, потому что все новое. Скукожился за пару недель грязный снег, в небе расплылся желтым пятном Гелиос. Новое чувство равенства с матерью, которое, он догадывается, радует и ее, идущую рядом с ним. О н и ы ы ш л и и з з и м ы. Они вышли только вдвоем.

Души черных, зимних, закутанных во что попало уснувших людей, кажется Генке, еще остались там, в опустевших домах, из дворов которых сквозит затаившимся холодом. Невозможно смотреть на тех, кто жметя к проплешинам залежалого снега, таща на санках свой покойнический груз. Должно пройти некоторое время, чтобы привыкнуть к тому, что из зимы вышел и кто-то еще.

— Что собираешься делать? — осторожно спрашивает Варвара.

— Поступлю в ремесленное училище. Там дают рабочую карточку.

С этой фразой Генка вступил во взрослую жизнь. И не в худший день.

Оказалось, что именно с сегодняшнего дня в городе начали ходить по нескольким маршрутам трамваи, —

слышен визгливый шум их колес на поворотах, так похожий на звук приближающегося тяжелого снаряда. Этот апрельский мир был совсем не против того, чтобы Генка поступил в ремесленное училище. Через сто шагов они уже стояли у объявления, о котором Варвара писала в стационар. В объявлении не было сказано, что учащиеся получают «рабочую карточку», но слова «питание учащихся проводится по нормам рабочего снабжения» Варвара и Генка, обсудив, признали равносильными.

Приемная комиссия работала здесь же — в особняке райисполкома. Врачи энергично проводили медицинский осмотр. Жидкая очередь из подростков быстро подвела Генку к весам. Врач говорит, медсестра записывает. Генка узнает: его вес «29 кг», что-то было сказано о цинге, о кожных покровах. Прослушивание, простукивание — все благополучно, и — провал. Врач попросил Генку сделать 12 приседаний. Присел, — а встать не сумел уже после первого. Проверяющий отправился переговорить с другим врачом. Генка только в этот момент понял, что ему никак нельзя возвращаться в зимнюю комнату, что-то в его жизни в этом случае не произойдет, и на то, что может сделать, уже не решится. Доктора приблизились, окинули его взглядом: «Ладно, — сказал главный. — Подойди к секретарю». Это значило: он принят.

С направлением в РУ вышел на улицу. Варвара его ждала. Генка продолжал говорить взрослыми фразами. Нет, домой заходить он не будет. Нужно найти это училище, сдать документы. Тогда его устроят в общежитие и с завтрашнего дня поставят на довольствие. Провожать его не нужно. Нет, он чувствует себя хорошо. Номер трамвая, который ходит на Васильевский остров, ему назвали. «Вот адрес...»

Ботинки немного жали ноги, но ничего, расходятся. По небу весело бежали белые облачка. Из-за угла вышло красное туловище трамвая № 12. Он чувствовал себя прежним легким мальчишкой, а новую жизнь — начи-

нающимся приключением, похожим на прежние игры. Трамвай подошел, распахнул двери, но Генка никак не мог войти в вагон — не поднять ногу на подножку. Тот испуг, который охватил его, когда врачи решали — годен ли он для того, чтобы начать новую жизнь, вернулся к нему. Трамвай продолжал стоять, а Генка дергал то одной ногой, то другой, пока не увидел, как человек в зимней шапке, с опущенными ушами, подхватил двумя руками свою непослушную ногу, поставил ее на подножку, а потом и сам переместился в вагон...

Так началась его взрослая жизнь.

КСЕНИЯ МАРКОВНА

Ночью Ксения Марковна закончила свою работу. Утром оделась прилежнее, чем всегда. Посмотрела в зеркало: как завязан платок, нет ли на лице следа копоти. Списки вложила в конверт, конверт — в папку, папку спрятала в сумку. Конверт со списками на всякий случай красным карандашом надписан: «В райисполком, первый этаж, комната 12, товарищу Воротникову!»

Нужно было попрощаться. Мысль поблуждала в поисках: с кем? и остановилась. Постучала в ту единственную дверь, за которой в школе обитал человек.

— Марковна!.. Куда ж ты, милая, собралась?.. — показала тетя Маша.

Ксения Марковна в комнату проходить не стала. Стояла возле вороха мётел, половых тряпок, картонок с мелом, немного торжественная и потому смешная, смешная для тети Маши, которая выкатилась из чистой половины комнаты, все такая же, как в те времена, когда подавала звонки на перемены и управлялась в раздевалке. Ксения Марковна в ответ поморгала глазами.

Так они стояли друг против друга, давно знающие друг друга. Но чем они могли друг другу помочь?..

— Куда идешь?.. Посмотри мороз-то какой! Присядь, и кипятик у меня есть.

Учительница должна была сформулировать то, что не было сказано даже самой себе. Она уходила — вот и всё. Самое унижающее, что могло еще с нею в этой жизни случиться, — остановиться в уже начавшейся дороге.

— Выпусти меня, тетя Маша. И не жди...

Они пошли по коридору. Тетя Маша говорила:

— Плоха ты что-то стала. Говорила, перебирайся ко мне — и теплее, и — все рядом кто-то...

— Конечно, Маша, лучше вдвоем, — бормотала Ксения Марковна, внутренне сжимаясь, чтобы защитить свое решение.

Из связки тетя Маша выбрала ключ к входной двери. Вдохнула.

— Ладно, живая будешь — вернешься.

Всё по отдельности, наверно, не оправдывало принятого решения. Приступ смертельного горя, который пережила ночью, мог бы не повториться. Ей требовалось так мало, чтобы без ропота продолжать жить — и умереть тихо, как умирал занесенный снегом город. А, может быть, дожидка бы до весны.

Когда-нибудь и блокада будет снята. С большой земли придут люди, сильные и здоровые, понимающие, что перенесли люди здесь; загорится в квартирах свет, потечет из кранов вода, по квартирам разнесут хлеб, масло, сахар, напоят горячим молоком детей, а когда пойдут трамваи, тетя Маша даст звонок на урок... Но и тогда его не будет. Его не будет уже *никогда, никогда не заговорят дети, которые стали в списках одинаковыми «птичками»*. Перед ней открылась зияющая пустота.

Три недели назад ее вызвали повесткой в райисполком — к товарищу Воротникову, комната № 12, поручили выяснить, кто из учеников ее школы эвакуирован, кто из оставшихся в городе жив, кто — умер. Это очень важное задание, объяснили ей. Чтобы она могла быстрее его выполнить, ее устроят жить в школе под попечением тети Маши.

Вся школа боялась людей из дома с колоннами. Никто из учителей не был спокоен за себя, когда объявлялось: «Учительскому составу собраться в директорской». Наведывавшиеся в школу казались Ксении Марковне людьми непостижимыми, они знали причины всех событий и всех виновных в отклонении жизни от лучших целей. Они приходили, чтобы сказать: учительский коллектив работает отвратительно, иначе чем объяснить наличие неуспевающих учеников, школьники к работе на производстве морально не готовятся — что говорит о том, что основополагающие труды не изучаются...

Во время разборок все сидели, опустив голову, — оживал лишь директор школы, с упреком оглядывавший своих подчиненных, — показывая: он не с ними, он с людьми из дома с колоннами. И, как всегда, ждали, когда же будет оглашена действительная причина чрезвычайного собрания.

Вся школа эти причины обычно знала. Перед каникулами, например, в больницу отвезли девятиклассницу Иру Гурьянову: несчастная любовь, люминал, «скорая помощь»... Товарищи на весь район сделали вывод: «в школе № 17 процветают декадентские настроения...»

Ксения Марковна ужасно боялась ответственных товарищей. Они не понимали главного — детей. И вдруг, ей казалось, это может обнаружиться. И заранее краснела за товарищей от стыда. Когда-нибудь, — к тому времени она станет седовласым ветераном школы, — кто-то из важных лиц, может быть, встанет и скажет: «Ксения Марковна, расскажите нам: *какие они, дети*». И она начнет говорить...

«Детей нельзя знать — их нужно любить и им помогать, — повторила бы она слова своего любимого профессора пединститута. — Когда вы детей любите, от вас не скроются их дарования. Постарайтесь, как умный педагог и взрослый человек, им помочь свои дарования развить. И если не развить, то не окажитесь сами препятствием на пути их развития — не совершите этот самый большой из всех грехов, который может совершить учитель».

Бездетная учительница ревновала детей к родителям. По сравнению с нею они были наделены священными полномочиями. Они имели право сказать: «Ксения Марковна, не портите похвалами моего Вовку — из него растет подлец и хулиган!» И пригрозить жалобами на нее директору школы. Под такими упреками Ксения Марковна сжималась, ей становилось стыдно за свою воспитательскую самонадеянность — могли и уволить из школы, и стыдно за свою бездетность. А родителям нужно было время, чтобы осмелиться в Володе вновь увидеть черты, которые дано было увидеть только ей.

По вечерам записывала в свой дневник:

«Олег Скворцов меня сегодня крайне удивил. Такая вспышка, — при его обычной уравновешенности, и — грубость!!! Но как он страдал, когда после уроков я попросила его объяснить, что с ним случилось! Слезы выступили на глазах — но промолчал. Между Скворцовым и Мишей Буркаем пробежала кошка. Если из-за девочки, то, скорее всего, — Лены Васильевой. Но дело, кажется, в том, что в последнее время Миша все больше захватывает лидерство в классе. А Олег — интеллигентен и индивидуален.

Я рассказала Севе об этом конфликте и о том, что не знаю, есть ли в этом случае педагогическое решение. Моему Севе быть бы учителем! “Решение? И еще какое имеется! — рассмеялся он. — Поручи Олегу составить план экскурсии, которую ты задумала. А Буркаю — ее организовать. Уверен, это не только их примирит — станут милыми друзьями...” Он стал говорить, что каждый человек лишь тогда живет с чувством удовлетворения, когда сближается с людьми, его дополняющими. “Вот пример: ты и я. Ты же моя любимая половина”.

Сева часто говорит такие необыкновенные вещи, после которых долго не могу уснуть. Вот он давно спит, как ни в чем не бывало. А я всё думаю — я такая маленькая в его огромной душе! Он для меня не любимая половина, а любимое — всё...»

«...Я была невнимательна и несправедлива к Коле Печёнкину. Он растет без отца, у него несносный характер, некрасив, грубит. Больше всего я винила его за то, что он заставляет свою мать плакать. Боялась даже думать о его будущем. Но какое он написал сочинение — смелое, сердитое! Чувства! Мысли! Он грубит, потому что неудовлетворен, потому что страдает сам. “У-у,— сказал Сева, когда стал читать сочинение,— как его несет!” Прочитав, сказал: “У мальчика определенно талант. С этим тебя и поздравляю”.

Я представила Печёнкина в старости — знаменитым, награжденным, в окружении учеников и почитателей. И как бы хотелось мне оказаться среди них. Если б такое было возможно! Я больше ребенок, чем сердитый Печёнкин...»

И так день за днем — Всеволод и дети, дети и Всеволод. Последняя запись в дневнике:

«Сегодня директор объявил, что наша школа закрывается на неопределенное время. Впервые подумала о нашем директоре с сочувствием. По-своему он любит свое дело.

Мы, учителя, даже не шелохнулись. Все подавлены. Надежд никаких. Школа для многих была местом, где мы не чувствовали себя совсем одинокими перед войной, голодом, зимой, смертью. От Севы писем нет...»

Были ужасные морозы, ночные очереди за хлебом, метроном, который вдруг, оживал в репродукторе, то замолкал. Казенный язык сообщал о нормах выдачи продовольствия по карточкам на новую декаду месяца... Что-то на еду меняла, как-то грела воду. Дни проходили в беспамятстве.

...А письмо не пришло — пришел после Нового года человек.

Большой, сутулый, в обтрепанной шинели. Стянул с головы шапку:

— Перфильева?.. Я из госпиталя... Не сяду — спешу, как бы на машину не запоздать. Пришел сказать, нет у вас больше мужа, нету Всеволода Юрьвича... Нету... нету...

Виноватый я. Не вынес тело Всеволода Юрьвича... Где ж там — в разведке-то! Шмякнуло и меня, и его. Меня — в руку, куда его — не спознать. Лежит — целый, как живой... Взял бумажник. Еще теплый. Бумаги были, фотки...

А по госпиталям как! — одевают, переодевают, перевозят, прожаривают все, что на тебе ни на есть... Где-то и сцыганили. Бумажник.

Покивал Ксении Марковне как на образ. И оставил стоять одну, не произнесшую ни единого слова.

А на другой день принесли повестку из райисполкома, чуть не разорвавшую ее сердце. Одна мысль — жив-живой дорогой Сева, опровергнут в исполкоме красноармейца, другая — держать ей завтра в руках официальную похоронку, и мир, который она уже увидела без Севы, таким останется уже навсегда.

В доме с колоннами о Всеволоде Юрьевиче не было сказано ни слова. Как если бы ничего не случилось и он продолжает жить где-то там — в разведке, — где раненых подбирают и не подбирают, возят по госпиталям, меняют белье, наспех лечат, и оттуда приходят мужчины с плачущим голосом.

Неотвратимая потеря откладывалась, переживает ее потом заново. К чему приведут ее мысли, еще не знает и не должна знать. Потому что в доме с колоннами ей дали важное задание. В заиндевелых домах страшное произошло и с детьми, и с родителями.

Семнадцать дней со списками учеников ходила по домам, квартирам, поднималась по парадным и черным лестницам, стучала кулачком в двери.

В темных закопченных квартирах со зловещими коридорами увидела детей, жалких и печальных, равнодушных и отчаянных, готовых бороться со всем миром и с нею, Ксенией Марковной.

В квартире Сережи Козлова дверь отворила его мама:

— Он жив, но плох. Вы хотите его увидеть?... — провела темным коридором в комнату, кивнула на старое кресло с общипанными, но еще кокетливыми кисточками. — Вот мой Сережа. Сережа, к тебе пришла учительница.

В полумраке не сразу разглядела Сережу Козлова, забившегося в пальто и валенках в угол кресла.

— Мама, она пришла тебя ругать за то, что я не посещаю школу. Я не пойду в школу. Я не хочу в школу.

— Сережа, я не пришла тебя ругать. Наша школа на время закрылась.

— А что теперь делаете вы, Ксения Марковна? — с умной усмешкой спросил мальчик. — Вы принесли мне что-нибудь поесть — да?..

— Я, Серёженька, составляю списки учеников нашей школы. Это очень важно сделать...

Сереза Козлов выставил из воротника пальто свое худое острое лицо:

— Вы не приносите, Ксения Марковна, нам поесть — вы составляете списки. Вы нас считаете, да?..

Учительница потерялась:

— Да, Сереза, это важно...

Глазки мальчика засверкали. Он был беспощаден. Он кричал:

— Вы плохая, никуда не годная учительница. Вы составляете список мертвых учеников. Когда свою работу закончите, умрут все!..

Мать Серези стояла за спинкой кресла и успокаивала:

— Вот это, Сереза, ты не должен был бы говорить...

Проводила до лестницы.

— Ксения Марковна, вы действительно ничем не можете нам помочь? Мы недавно с Серезей похоронили нашего папу. На очереди мы с ним... Вас послали обойти учеников ведь не для того лишь, чтобы поставить птички! Я знаю, — вдруг крикнула женщина, — вы распределяете помощь! — Рука женщины вцепилась в плечо учительницы. — Дайте мне ваши списки. Я посмотрю, что вы там поставили...

— Поверьте, я ничего не распределяю... — вскрикнула Ксения Марковна и стала долго и сбивчиво объяснять, почему и зачем она пришла к ним, к Козловым. Ничего подобного — против Серези Козлова она не поставила в списке «птичку», «птичку» она ставит против имен тех, кто умер, например, — Володи Смолкина, Иры Махоткиной, Вити Ургант... — Вы поняли меня?

Ксения Марковна уходила, держась за сердце и пряча тетрадь со списком под пальто.

Входила в квартиры, на порогах которых уже угадывалось: здесь живых, увы, нет. В ворохе тряпья находила застывшие, неузнаваемые тела учеников. Шептала: «Митя Скородумов, мой мальчик. Я не сердилась на тебя. Ты всегда исправлял свои двойки. А неаккуратность!— это проходит с годами...»

Она не могла покинуть тело мертвого ученика, не произнеся слов утешения, в котором припоминала его черты и поступки, достойные любви, и прощались прегрешения.

Витя Косимов лежал в кровати рядом с застывшей матерью. Он сказал тихо и приветливо:

— Здравствуйте, Ксения Марковна. Я в школу уже не могу ходить. Но я еще не все забыл... Вот — Петр Первый родился в 1686 году, а когда умер, вспомнить сейчас не могу..

Отправляя на работу, тетя Маша сунула учительнице ломтик хлеба. Ксения Марковна протянула хлеб Вите. Мальчик заплакал. Раньше к нему заходила сестра матери, но уже третий день никого не было.

— Ты — мужчина, Виктор. Не плачь. Я попробую тебе помочь...

Ей удалось разыскать управдома. В полушубке, в шапке с завязанными ушами, окруженный паром собственного дыхания, и как будто чего-то ожидал в своей конторе. Оберегая свое тепло, под нос сказал: «Скажите, скажите мне, что я должен сделать в связи с вашим учеником! Позвонить? — Телефон не работает. Сказать? — Кому сказать, что один из моих жильцов умирает?.. Почему я сам здесь сижу, вы знаете? — Потому что в это время начинается обстрел. Во! Слышите?.. Начинается. И есть приказ: управdomам быть на местах во время бомбежек и обстрелов... Вот я и сижу.

Миша Буркай, живущий в том же доме, сидел перед открытой дверцей «буржуйки». В топке горели книги в дореволюционных переплетах. Отсветы огня бегали по его лицу:

— А-а, со школы пришли! А помните, вы нас пугали — рассказывали: когда припасы у осажденных кончались, они начинали есть собак, кошек, крыс. Где, Ксения Марковна, кошки, где собаки. Где крысы? Крысы!.. Буденный с Ворошиловым, наверно, давно уже своих коней съели...

Он рассмеялся. Глаза по-стариковски скрылись в дистрофических отеках.

...Иногда ей кричали через дверь: «Уйдите!»

В одной квартире хотели убить или ограбить. Ее мучил живот — утром тетя Маша накормила ее какой-то странной кашей. Зашла в квартиру — показалась, в ней не было жильцов. Нашла пустую кладовку, в которой решила присесть. Оказывается, за нею кто-то крался. Прижалась в угол. Выход из кладовки загородил мужской силуэт. Руки человека зашарили по стене. В одышливом дыхании мирно копошились слова: «Где же ты, сволочь? Б-оль-ша-я умелица от людей прятаться...» Спасла темнота и немощь самого злодея.

В последние дни Ксения Марковна ходила все медленнее, путала номера квартир, попадала на другие лестницы. Но принуждала себя двигаться, пока вечерний мрак не заполнял дворы и лестницы.

Ее посещали разрушительные сомнения: не впустую ли потрачены годы на преподавание истории. Прежде верила: история — наука, а наука не знает ошибок, допуская лишь «уточнения и добавления»?.. Пришла ИСТОРИЯ и отобрала у нее всё. Кто она и ее умирающие дети — «уточнение и добавление»? История исчезает, когда не остается ничего — ни авторитетов, ни крыс.

Вчера пришла по адресу Вали Курнаковой. В комнате с выбитой взрывом оконной рамой нашла ее, свернувшуюся калачиком на диване. Из-под вязаной шапочки выпали ее беленькие кудряшки, ладошка в рукавчике прикрыла уши. Показалось, что девочка заснула.

— Валечка, Валечка, ты слышишь меня? — хотела согреть ладони Вали в своих руках. Они поддались со скри-

пом мертвого тела... Смотрела и не могла оторвать взгляда от ее застывшего лица. Плакала и говорила:

— ...Милая девочка, милая девочка...

Я — взрослая женщина, — а хотела хотя бы один час побыть тобою.

Я хотела узнать, что значит жить, когда светятся, как у тебя, глаза, вьются, как у тебя, волосы, а любое платье гордится тобой,

если ты задумывалась, — то о чем?..

беспокоилась — по какому поводу?..

Тогда бы я перестала быть смешным человеком — МоркОвной, как вы меня звали...

Я бы не мучилась тревогой, что рядом с Всеволодом Юрьевичем я заняла чье-то место.

И говорила бы то, что чувствую, никого не спрашивая, имею ли на то право.

Ты говорила, как будто в окно дунул ветер, а с ним — бабочка. Как мило ты смешила класс своей речью!..

Как я любила весь класс, когда с восторгом тебе начинали подсказывать с первой до последней парты. Эти жертвоприношения были прекрасны. Милое создание... Все виноваты перед тобой...

Вчера сделала последний обход. Списки переписывала до позднего вечера. Против умерших — ставила птички, против живых — крестики, и так за фамилией фамилию, за классом — класс. Ночью проснулась.

Во сне увидела знакомый берег моря, вспомнила даже время, когда там в последний раз была. Только никогда не было так пусто на пляже, не было таких туч страшно кричащих чаек. Птицы окружили ее, их крылья и страшно разинутые клювы, еще немного, начнут хлестать и клевать ее. Спасение одно: крошить хлеб и бросать во все стороны. Но кончается и хлеб... в ужасе открыла глаза и поняла: она совершила непоправимую ошибку — испортила списки. Имена живых детей она отметила крестика-

ми, а мертвых — птичками. Потому они и явились чайками, чтобы отплатить ей за это.

Как она могла перепутать — в райисполкоме ей внятно наказали: «Ксения Марковна, имена погибших помечайте крестиками, а живых — птичками».

«Ты встанешь — и переделаешь!» — приказала себе. Но не встала и не переделала, потому что из другой — не ночной — тьмы пришло короткое и ясное послание: УХОДИ... Утром послание удовлетворило ее простотой и ясностью.

По дороге в комнату № 12 дома с колоннами зашла купить хлеб.

В маленькой булочной люди стояли тесной очередью. По черным морщинистым физиономиям трудно было понять, кто мужчина, кто женщина. Каждый входящий не отличался от стоящих за хлебом, но каждый еще сохранял о себе представление, каким он прежде входил в присутственные места. Присоединение к пугающим несчастным было постоянным унижением — ты такой же, как все.

Чадила коптилка, и только там, где в маленьком пространстве горела керосиновая лампа, стояли весы, блистали ножницы, выстригающие из карточек талоны, и полотно ножа кроило маленькие буханки на крошечные кирпичики. Там слышались вопросы и ответы: «На сегодня?», «На сегодня»... «На сегодня?», «На сегодня и на завтра»... «На завтра». Слова «На завтра» выдавали тяжелую тайну. «На сегодня», не без гордости говорил тот, кто еще держался, — брал хлеб только на текущий день, он скажет «на завтра» только тогда, когда козырей в борьбе за жизнь у него на руках уже не останется.

Иногда у лампы тишина вдруг взрывалась, и мгновенно вся булочная начинала кричать, слабо толкаясь, но достаточно сильно, чтобы кого-нибудь опрокинуть. Зажигались глаза, поднимались сухие руки, очередь смешивалась — все сразу забывали, кто за кем стоял. «Бардак», «дистрофик», «бог», «гитлер», «карточка», «калории» —

словарь, которым объяснялись встревоженные и мало похожие на себя люди.

Полузакрыв глаза, Ксения Марковна приближалась к керосиновой лампе. В себе она чувствовала океан терпения, потому что видеть все это ей оставалось недолго. Из булочной пойдет в дом с колоннами, потом еще дальше и дальше — в дороге пощипывая хлеб, чтобы продержаться до конца. Вытащила карточку и держала ее в руке:

— Милая, — тихо сказала продавщице, — дайте мне, пожалуйста, хлеб на завтра и послезавтра. Знаю, на послезавтра вы не даете. Но мне нужно сделать одно дело. Будьте добры... — учительница продолжала убеждать женщину. — Я могу вам показать... списки... Если бы вы их видели, вы уступили бы мне... — она говорила вежливо, с безразличием к тому, понимает ее женщина с ножницами или нет. Ее спокойствие можно было принять за безумие.

Ножницы блеснули и оставили в карточке огромную рану, которая казалась больше того хлеба, который она получила в руки. На улице отщипнула корочку, положила ее в рот — и в желудок потекла горьковатая струйка хлеба, в котором были и бумага, и жмых, но и несколько зерен хлеба, который когда-то колосился под дождями и солнцем.

Уже показалось большое желтое здание, когда послышались пугающие звуки. Но случилась не тревога — на встречу шла женщина. Она не то пела, не то кричала. Ее голова была не покрыта, волосы развевались. И хотя тротуар был широк, Ксения Марковна отступила к стене дома, потому что, казалось, женщина обязательно ее заденет.

Сильная, вызывающе красивая женщина прошла мимо учительницы, прижимала к себе укуток, качая его и по-деревенски причитая: «Маленький мой, как мы теперь с тобой жить-то будем! Как теперь накормлю я тебя! Солнышко мое, прости меня, никому не нужную...»

Улица уже знала, женщина с ребенком погибает — у нее пропали продовольственные карточки.

— Гражданка, гражданка, — позвала Ксения Марковна, не в силах женщину догнать. — Я же кричу вам, а вы...

Женщина остановилась. Они подошли друг к другу. Маленькая учительница и большая женщина.

— Мадам, возьмите этот хлеб! Мне не надо... Правда, поверьте...

Когда учительница вспомнила, что теперь и хлебная карточка ей не нужна, женщина была уже далеко — рука учительницы напрасно потянулась ей вслед.

В вестибюле дома с колоннами, с лепным потолком и высокими зеркалами, поседевшими от изморози, она попросила *высшее существо*, чтобы ее здесь не ругали, не хвалили и не попытались задержать.

— Здравствуйте, товарищ Перфильева. Садитесь. У нас не жарко, но расстегнуться можно.

Учительнице нравился этот человек — его лицо, покрытое морщинами усталости и воли, то становилось помолодому непосредственным, то мгновенно каменело, когда Воротников гремел своим голосом в телефонную трубку. В стороне на ручке кресла сидела женщина, пристально разглядывающая Ксению Марковну.

Потом Воротников вышел с женщиной в соседнюю комнату. За время их отсутствия учительница размотала головной платок, открыла сумочку, выложила на стол списки. Потерла шершавые ладошки и принялась терпеливо ждать.

— Так, так, — сказал приятный человек. — Это списки?.. Спасибо вам большое. Пунктуальный вы человек...

— Я, кажется, сделала ошибку, — решила предупредить учительница, — я помечала птичками детей умерших — их намного больше, чем живых, а живых — крестиками.

— Ничего страшного, — просто сказал человек. — Давайте я сверху напишу, что вы сказали. Хорошо... Послушайте, — сделал он паузу, — тут наш товарищ только что видел, как вы отдали свой хлеб женщине?..

Ксения Марковна кивнула и подобие улыбки мелькнуло в ее глазах.

— Разве у вас есть лишний хлеб! Вы можете отдавать свой паек первому попавшемуся человеку на улице?

— Она плакала. У нее ребенок.

В разговор вступила женщина:

— Но вы отдали не свой хлеб. Вы столько не получаете. Там было больше... Это странно. Откуда у вас лишний хлеб?..

— У меня нет лишнего хлеба, — тихо сказала Ксения Марковна.

— У вас нет лишнего хлеба, а хлебом разбрасываетесь! — строго потребовала: — Отвечайте, откуда у вас лишний хлеб.

У Ксении Марковны задрожали колени, никогда в жизни она не оказывалась в положении преступницы. Попыталась улыбнуться, но не потому, что хотела расположить к себе допрашивающих ее людей, а потому, что увидела: то расстояние, которое их разделяло, — его не преодолеть. Они никогда не скажут: «Ксения Марковна, расскажите нам, какие они — дети! Они твердо знают, что отдавать *свой* хлеб детям просто так нельзя.

Ее тренированный педагогический ум представил их такими, какими они были в детстве, — в детских брючках и юбочках. Там они были нормальными детьми. Но у них были другие учителя. Она сказала:

— Я пометила крестиками школьников, которые еще живы. Помогите им, чем можете, — они находятся в очень, очень плохом состоянии... — И взялась за сумку.

— Ксения Марковна, покажите-ка вашу карточку, — сказал ответственный товарищ.

Учительница положила карточку на стол и повернулась к выходу. Они увидели в карточке вырезанные талоны.

— Ксения Марковна, что вы! Мы не отбираем у вас карточку. Вы отзывчивая женщина, но вы не смейте отдавать то, что положено вам. Мы с вами не отвечаем за каждую разиню, которая теряет карточки. Что касается детей, *мы знаем* их настоящее положение...

Учительница закрутила платок вокруг головы, натянула варежки и вышла на улицу. Ничего Ксения Марковна не хотела знать, ни о чем не хотела помнить — внутри стало просторно. Теперь она может думать о чем угодно, идти куда глядят глаза. Но это была горькая свобода, и слезы сожалений, которым не было конца, побежали по щекам.

Горе тому, кто верил прекрасному в этой жизни.

Еще ночью поняла, что не хочет умереть ни в постели, ни в темных тесных дворах, ни на улице, где ее тело тотчас заметят и слабые руки всю обшарят. Она уйдет в поле, где много неба, а под снегом трава. В поле убит Сева — и ее место тоже там.

Она спросила мужчину, тащившего за веревку санки с несколькими дощечками:

— Вы не знаете, как можно выйти за город?

Он не удивился. Только поинтересовался, не думает ли она, что за городом дров больше. Размышлял долго. Его озябший нос висел над нею.

— Идите до Московского вокзала, а оттуда по путям: станции «Сортировочная», «Фарфоровый пост»... Там уже поле...

Она пошла серединой улицы, как шли все. Пошла быстро, даже дыхания перестало хватать, — потому что шла к Севе, потому что солнце, купаясь в искристом воздухе, уже заходило за дома. В ту же сторону шла она не одна: кажется, вся улица двинулась туда — в поле, к мужьям, братьям, детям. Казалось, невидимые волны человеческих стремлений пронизывали морозный воздух и, не сталкиваясь между собой, влекли каждого к его собственному пределу.

...Некоторое время ее и других идущих держали в парадной дома. В порыжевшем на закате небе раскаленно визжали снаряды и падали с глухим грохотом сердито и не страшно. Потом она снова шла, но теперь почему-то с нею не было сумки.

Потом промчалась пожарная машина. Потом прошла дом, в котором когда-то побывала в детстве, — он был разрушен.

Увидев вокзал, заволновалась, но вокзал был закрыт. Спросила мужчину — мужчины должны знать, где поля, на которых они воюют. Учительница, наверно, показалась прохожему смешной. Он растягивал губы, поглядывая на маленькую, решительно настроенную женщину, не понимающую, что искать поле — это просто смешно. Он был очень грязен — и лицо, и пальто, зубы были тоже черны.

— Дамочка, идите по десятому маршруту, помните, как «десятка» ходила? Дойдете до Ржевки, до кольца, а там п-о-о-лей этих! — выбирайте, какое понравится, — и снова показал черные зубы.

Она шла мимо дворов с разобранными заборами, развалин домов, булочных с толпенками меняльщиков, солдат с опухшими лицами, баррикад, с проходами для проезда, мимо надолбов...

Вот Ржевка. Уже стало темно. В маленьких домиках топили печки, кое-где огоньки просвечивались сквозь светомаскировку, за которой здесь, на окраине города, наверно, особенно не следили. Мертвая тишина стояла над улицей. Только чуткий слух мог различить в воздухе глухое шевеление далекой войны. Стали попадаться места, которые можно было бы принять за поле, но она понимала, это пустыри, на которые сваливали мусор, сейчас под сугробами невидимый.

То чувство свободы, которое испытала, покинув рай-исполком, сжималось, сокращалось — оставался лишь маленький комочек, его грела робкими картинками детства, воспоминаниями о тете Маше, муже, который давал ей смелость жить до сих пор, о каких-то песнях, о каких-то стихах, о какой-то музыке. Все это, разбуженное в памяти, переместилось вперед — в пространство впереди. Теперь пустота и одиночество приобрели конечный размер. Тяжело и все слабее дыша, учительница уже с трудом передвигала стынущие в бурках ноги.

Широкая дорога закончилась, дальше пошла — узенькая и чистенькая. По ее сторонам показывались кустики. Они торчали из-под снега, как скелетики, и дрожали на ветру, от которого слезились глаза. Учительница прикрыла веки, и казалось, что не идет, а падает в темную пропасть, и хотелось выставить руки. Здесь уже не было ни домов, ни заборов — тут началось настоящее поле.

Оставалось самое простое — дождаться, когда остановятся сердце и ноги, только усталость и город — он будто вслед за нею передвигал свои опухшие от водянки ноги и наваливался на нее сзади темной горой. Остановилась, качнулась. «Боже ты мой...» — повела застывшими губами. «Еще немного», — проговорила себе... Комочек жизни совсем съежился и застыл.

Высоко над полем показался огонь. Не она, а кто-то другой удивился в ней: ах, вот оно как! Вот, как оно приходит. Вот так было с дорогим Севой...

Огонь качался и приближался. Учительница остановилась. Ее глаза не отрывались от огня. Двигались с огнем и тени. Потом послышался скрип шагов, который показался ей угрожающим. Хотела уйти в темноту, в дрожащие кусты. Но сугроб по сторонам дорожки был слишком высок.

Это были люди. Их было человек десять. Они разговаривали. Один из них нес фонарь, поднятый на длинной палке.

— Эй, кто тут? — окликнул ее напряженный голос.

Свое «я» Ксения Марковна еле услышала. Люди подошли. Свет бил в глаза. Они были в шапках, рабочих ватниках и валенках.

— Из города пришла?.. Менять, что ли?..

— Что есть у тебя?..

— На деньги, что ли?..

Они не удивлялись ее молчанию. Они сами решали, кто и зачем в такое время приходит на их поля.

— За молоком, наверно, — предположил один.

— За молоком, значит, — удостоверил другой.

— Молоко у Кругловых. Больше ни у кого здесь нет.

— Что-то не слышал я, что Васька молоко торгует?.. — засомневался кто-то.

Заговорили о молоке между собой. О борьбе, которую ведут между собой военные части. В начале один начальник дал команду корову на мясо зарезать. Но другой уже выписал Кругловым справку о том, что корова приписана к госпиталю — тяжелораненым молоко требуется. Но ходит слух, молоко отвозят одному туберкулезному начальнику повыше всех. И за коровой следит НКВД. Они и сено подвозят. Разговаривая, пошли дальше, оставляя после фонаря смертельную тьму. Но один оглянулся:

— А к Кругловым еще идти — будет сверток направо, — там дом их и стоит. Смотри, не пройди...

И еще послышалось:

— Эх-ма! Что только сейчас не дается, где народ ни бродит!..

Мысли Ксении Марковны спутались. Поле, корова, молоко. Люди объяснили, пройти ей осталось совсем немного. Помогая себе руками, поднялась на пригорок. Ветер закрутил юбку, заморозил. Черный дом приблизился. Вот дверь, крыльцо, но ступенек нет — метель намела сугроб...

— Мать моя родная! — всегда радостно вскрикивала Настя Круглова, когда рассказывала о появлении Ксении Марковны в ее доме. — Тихо. Как в погребке. Симка — поверите — не залаяла. А собака была: на дороге человек пройдет — она его уже облаивает! А тут человек к избе подошел — не слышит... И я ничего не слышу. Сплю-не сплю, — Васю поджидаю. И будто кто-то меня под бок подталкивает: будто что-то неладно на дворе. Надоело гаданьем мучаться — ругаясь иду. Ну и — тихо всё. Вернулась в избу — и будто постучал кто-то в дверь с улицы, на крюк закрытую, еще как в городе началось всё это.

Зажгла лампу. Крюк откинула. Дверь толкаю — не открывается, снегу нанесло. А я толкаю, спешу чего-то, кое-как пролезла: человек у крыльца лежит. Подбрасывали мертвецов-то! А я мертвецов, ужас, боюсь. Но тут — я не своя, под микитки хватать — живой-мертвый еще не знаю. Ташу в дом. И скорее дверь закрывать, будто человека украла. Вот как!

А когда Вася пришел, я ее уж размотала. Шубами на лежанке накрыла. Вася ухо свое к носу ее приставил — говорит: «Сопит».

И наутро спит и спит. Не померла ли? — я подходила. А к обеду уже, вижу, смотрит. Смотрит на стакан молока...

Стали мы жить-поживать. А в мае — и травка уже пошла, и трамвай заходил — проводили Марковну в город. Мы с нею плакали, а Вася мой — тот хохотун.

Через дверь слышался петушиный голос: «Ксения Марковна, Ксения Марковна!..»

«Боже мой! — роптала старушка. — Они пришли. Они всегда в марте приходят... Я попрошу их впредь хотя бы за день звонить», — ей казалось, что эта мысль пришла к ней сейчас впервые. Ей казалось, что и дверь, собственно, она еще не успела открыть, а они — Вася и Настя — с каждым годом они становятся все меньше и меньше — уже успели ее обцеловать старыми, бескровными губами, затолкать подарками, без спроса вытащили тапочки — совсем не те, — и вот, разглядывают себя в трюмо — такого у них в деревне нет. И все это время в открытых дверях свечой стоит их племянник — «Племеш», большой, добродушный, который в жизни передвигался исключительно по чьему-нибудь понуждению.

Ксения Марковна смирялась. Прижимала седые волосы к головке и во главе гостей входила в комнату. Указывала на стулья, спрашивала о здоровье, в то время как Настя

исчезала на кухне, куда с шумом уволакивала сумку с продуктами и откуда раздавались то возмущенные, то радостные возгласы: «Спички? Где спички?.. Опять соли нет на месте, как в прошлом году.. Нашла! Нашла!.. Разве можно соль держать открытой, она же тухнет!..» А Вася метался, спешил все рассмотреть, потрогать, изумляясь существованию ненужных вещей. Каждый год его осмотр завершался колебаниями: что там за книжища под потолком на полке — и решением: не упустить возможности ее достать.

Подставлялась лестница, и он убывал в полутьму припотолочного пространства, откуда доносились трудовые стоны, с которыми спускался вниз счастливый с дореволюционным изданием «Мертвых душ» Гоголя — и оглядывал всех: «Смотрите, что я нашел!»

Вася вращал толстые листы книги с иллюстрациями Верейского, а в коридорчике раздавались запах еды и звон посуды.

Ксения Марковна в низком кресле думала: «Я их понимаю, им нужны развлечения, разнообразие и другие люди».

Из кухни голос Насти доносил последнюю информацию:

— Теперь у нас Ксения Марковна две козочки — Нинка и Ксения. Я Василию говорю: «Ксений-то зачем звать. Есть у нас Ксения — человек добрый, хороший». А он: «Так и козочка, смотри — добрая, хорошая». — «Ну и ладно, думаю, будем чаще нашу Ксению Марковну вспоминать». А коровки у нас больше нет. Стара стала, а заводить молодку — не то что не по силам, а не надо. Будет от нас большой сюрприз!»

Василий пальцем показал в сторону кухни.

— Она целую баклажку с козьим молоком прихватила, — выдал тайну Вася. — Будем, говорит, Марковну молоком отпаивать.

Старая учительница думала: «Какие они, однако, озорники»...

ЭПИЛОГ

...Проходили двадцать—тридцать—пятьдесят лет, но тем, кто жил во время осады в городе, всегда казалось, что им довелось увидеть нечто поверх времени.

Никто не решится сказать, что люди, живущие на земле, готовы повторить это. Но сказать, что такое уже никто и никогда и не сможет выдержать, — значит устранить из будущего веру в человечество.

В истории военного искусства операции, блестяще осуществившие окружение противника, но так его и не словившие, всегда будут вызывать подозрение. Историки осады будут вновь и вновь пересчитывать число защитников, запасы продовольствия, боеприпасов и всегда заподозрят в цифрах опасную относительность.

Они увидят: все делалось несвоевременно, но все вовремя исправлялось; решения принимались бездарные и нелепые, но в них, как показал ход событий, был великий смысл.

Осада этого города не была военным сражением в прямом смысле слова. По ту сторону фронта стояла победоносная, лучшая в мире профессиональная армия, по эту — вооруженные кое-как горожане и ошметки разгромленных армий.

В Ленинграде призыв войскам: «Отступать некуда — позади Ленинград!» — выглядел глупо.

Не было героизма в том, что бабушка шла с бидоном за водой на Фонтанку, а дистрофик-токарь точил детали, пока держали ноги. Если отбросить патетику, и стрелок в окопе ничего героического не совершал. У осажденных не было цели, с которой они могли согласиться или не согласиться.

И для старушки, и для токаря, и для солдата, и для малыша, только что появившегося на свет, — враг являлся образом абсолютной смерти.

И как бы ни было страшным и пугающим, чудесным и высоким, величественным и жалким в тех или иных моментах, деталях, поступках, по тем или иным документам происходившее с городом, — нужно понять и запомнить: перед нами не пьеса и не кино, не версия событий, не калейдоскоп впечатлений и переживаний, перед нами жизнь огромного города, попавшего в капкан смерти, — жизнь единого существа, чьи порывы и судороги, жалобы и проклятия — были борьбой все той же безвинной жизни, изо дня в день смотрящей в глаза смерти.

Мало кто из горожан за все годы блокады увидел в яви хотя бы одного вражеского солдата — но и бабушка, и солдат, трехлетний малыш и академик, ночующий в бомбоубежище своего дома, воспринимали врагов предельно лично, как свою собственную тень — тень преследующей смерти.

Враг поджег продовольственные склады, бомбит водокачку, жилые кварталы, орудия метят по трамвайным остановкам, перекресткам улиц, госпиталям, враг сбрасывает, издеваясь над голодными людьми, фальшивые карточки.

Враг не был анонимным, потому что был стерильно низок, расчетлив, методичен. Это был апофеоз деградации немецкой армии, которая тем сильнее вызывала чувство ужаса и гадливости, чем большие достижения цивилизации ее обслуживали.

Установки генералов и технология войны, освоенная солдатами, открывались во всей своей общей враждебности ко всем д р у г и м людям.

Если изыскивать в городе что-то с ними сходное по состоянию сознания и разбуженных инстинктов, так это человекоедение горожан, тронувшихся умом. Ни рассудок, ни инстинкт уже не удерживали их в человеческом сообществе, они опустились в состояние некоего ОНО — существа пожирающего — с зубо-желудочно-кишечным трактом, заменившим все.

Это приведенное сравнение удивит нас сходством итогового результата деградации тех и других. Не удивительно, что враг должен был позорно проиграть вместе со своими генералами, военными заводами, академиями и Гитлером, который в финале понял, что *его* немцы не заслужили право на существование.

Это был путь к моральному коллапсу, к самоубийству, к позорному одиночеству, ведь ни одному из них после войны нельзя протянуть руки.

Они вызывали чувство гадливости и снисходительной жалости у тех, кто был, несмотря ни на что, все же на жалость был способен.

...Мои слова не преувеличивают.

До свиданья, товарищи!

Повесть

Девятого июля 1941 года летчик Павел Чугунов возвращался в свою часть. Пять дней назад он вылетел на связном «У-2» с аэродрома — теперь до него оставалось минут двадцать лета — с заданием доставить кипу оперативных карт для войск, ведущих бои на пересечении границ Украины и Белоруссии. А там последовали другие задания, уже армейского и корпусного командования, и только сегодня, вывезя какого-то важного военачальника на тыловой аэродром, он возвращался в свой полк. Он знал, что немецкие «мессера» шныряют и в этих местах, но был уверен, что его приключения на сегодняшний день закончились, можно не вертеть по сторонам головой, — и расслабился. Впервые с начала войны с таким беспристрастным любопытством летчик смотрел вниз на уходящие назад поля, на рощицы, оконтуренные длинными тенями, на паровозик, влекущий состав почти в одном с ним направлении. Неправдоподобной обычностью веяло от равнины. Склонный к язвительности, когда ему предлагают принять желаемое за действительное, он не верил благодущию наступающего вечера; этот мирный пейзаж ему казался наивной маскировкой наступившего на земле хаоса. И паровозик, думал он, наверно, следовал не туда, куда нужно, и вез не то, что надо было бы, да и машинист не знает и не может узнать, что в этот момент делается и что нужно делать.

Признаки наступающего хаоса Чугунов почувствовал уже на заволжском аэродроме, где в спешном порядке формировались авиационные части и группы, — раздергивали прибывающих летчиков, экипажи, эскадрильи, самолеты, командный состав, специалистов. И слово появилось — «переориентировка», что означало: одно дело бросай и беришь за другое, потом «переориентировка» требовала бросать начатое и ждать нового распоряжения. Одни по каждому поводу куда-то бежали выспрашивать, советовать,

предлагать свои услуги, другие отказывались вникать в эту унижающую кадровых военных суету и беспорядок и терпеливо ждали. Каждый день небо стояло знойным белесым столбом. Перед обедом в недалеком старом пруду кипело от загорелых тел, приборные волнишки все подходы к воде сделали скользкими. Вечерами к КПП подходили бабы с черникой и малиной, в казарме шипел патефон с томными танго, вдоль кое-как обозначенного в одну проволоку аэродрома в сумерках возникали пары и исчезали. Чугунов удивлялся тем отрешенным счастливым выражениям, с которыми за полночь возвращались ухажеры. Укладывались, ворочались, засыпали. Он же потерял сон, слушал тишину до усталости, как будто оставался единственным сторожем в ночи. Он ловил себя на том, что наслаждается наполняющим его до предела большим ожиданием, и прощал эту слабость, за которую он заплатит когда-нибудь сполна. Ему хотелось кому-то сказать: ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО, стараясь очистить внутренний голос от самоутешения. Это удавалось, и он засыпал.

Примерившихся уже к службе на Баренцевом море, где требовались экипажи для морской разведки, их вдруг в составе одной эскадрильи «СБ» перебросили сюда — в край маленьких русских городков, названия которых он никогда не слышал, где им предстояло провести слетку, дожидаться остальные эскадрильи и затем вступить в бой уже в составе полнокровного бомбардировочного полка. Не успели обосноваться, получить зенитное прикрытие, вырыть капониры и довести состав до штатного, попали под безнаказанную бомбежку. А на следующий день — еще чернели на аэродроме пятна выгоревшей травы и белели заплатки кое-как присыпанных гравием воронок — он получил задание определить линию соприкосновения наших отступающих войск с противником и вылетел на самолете, единственном оставшемся в исправности.

Ясно, командование полка и начальство выше хотело вырваться из унижающего бездействия. Одно то, что са-

молет нужно было к полету готовить, давать задание, а потом ждать возвращения разведчика, — уже это должно было вернуть людям, оставшимся после налета без машин, без запаса горючего, если не оптимизм, то, по крайней мере, ощущение своей реальности. Это был его первый боевой вылет, если, конечно, не считать военные действия на Халхин-Голе. И считать, в самом деле, не стоило. Там была нормальная война: ты мог проиграть бой сегодня и выиграть завтра и послезавтра. Теперь война пошла ненормальная. По тому остервенению, с каким пара «мессершмиттов» набросились на тихоходный «СБ», еще не успевший набрать высоту, было ясно: его присутствие в воздухе выглядело в глазах немцев дерзостью и глупостью — они отказывали русским в праве летать в собственном небе.

Сейчас Чугунов все случившееся помнил, как фильм с наполовину вырезанными кадрами. То видит, как лохматится обшивка плоскостей, распоротых пулеметными очередями, то слышит крики штурмана: «Командир! Командир!» — он хотел и не успевал предупредить Чугунова о новой атаке истребителей. Набегающая земля, неуклюжая тяжесть самолета, придавливающая все неотвратимее к земле, и какие-то чудом найденные проблески управления, которым удивлялся, и свой собственный крик, снисходительный и злой: «Бейте! Бейте! Суки!» — это врагам, расстреливающим бомбардировщик то справа, то слева. Стрелки приборов — одни уперлись в «нуль», другие мотались по шкалам, как будто пытались ускользнуть от своей судьбы. Совсем не запомнил посадку, прыжок на картофельное поле, и сразу белый, бездымный столп пламени с угрожающих гулом над бедной «эсбушкой».

Что он мог сказать о штурмане, который выбросился с парашютом и был расстрелян врагами в воздухе, и о стрелке Васильеве, который не принадлежал к его экипажу, — свой был послан на станцию разгружать боеприпасы?.. Разве что чувствовал по вибрации фюзеляжа, как он отчаянно отстреливался, пока за это немцы его не наказа-

ли. Тело Чугунова и на земле еще помнило дрожь металла, как если бы Васильев жил и стрелял в том месте неба, которое недавно пересекла обреченная машина. Но Чугунов есть Чугунов. Возвращаясь в часть поездом местного сообщения, благо аэродром находился возле станции, он все же нашел в столь быстро закончившемся полете два положительных момента. Первый относился к нему самому — на этот счет он сильно не распространялся, хотя бы из суеверия — управление самолетом сохранил, самолет посадил. Доверился бы ему штурман, остался бы на борту, возможно, сидел бы с ним рядом на вагонной скамейке. Второй — Вася Васильев. Вася не сбил, но мог бы сбить «ганца», мог проучить этих наглецов. Ведь шли на рожон, как на учебе, на тряпичный «рукав». А могло получиться по-другому..

Тут объявился контролер:

— Ваш билет, товарищ военный.

Вот без понимания дурень. Что ему рассказать, как объяснить «непредвиденные обстоятельства»: должен был воздухом домой возвращаться, а вот пришлось на колесах и «зайцем».

Формальный попался мужчина. И военных, видно, не уважает. Чего с ними чикаться — бегут по всем фронтам.

— Сколько штрафу-то? — спросил. Может быть, отвяжется. А тот на скамейке место занимает и с керосином протирает:

— Нехорошо ездить без билета. А еще военный, командир...

— Сколько штрафу-то?

Народ происшествием заинтересовался.

— А я специально, — воспитывает контролер, — с вас штраф брать не буду. Чтобы стыдно было.

— Советую, товарищ контролер, штрафом ограничиться. И перед вами мне не стыдно, и думаю, ни перед кем стыдно не будет.

— Ну, если вы до такого дошли, тогда платите штраф.

— Вот это разговор! Только денег у меня с собою нет. В казарме на рояле оставил.

Контролер плюнул и ушел, а народ развеселился. И тогда вдруг горько стало и за штурмана, и за Васильева. Не ездить им больше в пригородных поездах. Не слышать смех человеческий.

2

Солнце уже закатилось. Садился с выключенным мотором. Предполагалось, что, если приземлится чужой самолет, например транспорт с диверсантами, их уничтожит вон тот белобрысый красноармеец в обмотках с трехлинейной винтовкой, туго соображающий, откуда взялся этот «У-2» с нахальным пилотом. Привыкая к тишине, прошел мимо Длинного Карабина, как про себя окрестил караульного бойца. Путь через поле к командирскому домику показался длинным и скучным.

— Я предложил бы тебе чай, — сказал Махонин, — но тебе мои сухарики, как слону дробина.

— Я летал без бортового пайка, — сказал Чугунов. — Мне его, насколько помню, никто и не предлагал. Это о заботе. А вообще, товарищ капитан, вы угадали, мне бы поскорее заправиться и до койки добраться, прежде чем получу новое задание.

Они почти ровесники. Авиация сделала их близнецами. У них общие воспоминания, хотя впервые увидели друг друга меньше месяца назад. У них общие образцы для подражания и одинаковая манера выражаться — о себе говорить только обиняком. Они прежде всего летчики, а потом уже звания, должности. Чугунов — классный летчик, таким его знают многие. Он может говорить с командиром полка на равных. Это его право. И Махонин знает о том, что его собственный авторитет определяется тем, как ведет он себя в воздухе. Чугунов не докладывает, а рассказывает. Ему не нужно излагать свои впечатления и

переживания, потому что впечатления и переживания входят в технику выполнения задания. Но каждый летчик без труда переводит условия полета и маневры пилота на язык впечатлений и переживаний. Чугунов закончил.

Капитан смотрит на занавешенное окно.

— Как началась война, никому не объявлял благодарность... — Капитан продолжает думать. Скрипит пол, за фанерной перегородкой шуршит бумагой связист. — Лейтенант Чугунов! — свою короткую фигуру Махонин пытается сделать иллюстрацией к уставу строевой службы. — За умелое и мужественное выполнение ответственного задания объявляю вам благодарность.

Покачиваясь, летчик тоже изображает некое подобие строевой стойки:

— Спасибо, товарищ капитан.

Ответ вольный, но они друг другом довольны.

— В двух словах, как т а м?

Что делал и что видел он там, где отступают и откуда почти никто не возвращается? Помогал поиску частей: штабам корпусов найти свои дивизии, дивизии — свои полки. Сбрасывал вымпела, пакеты, приземлялся и взлетал где попало. Видел колонны войск, похожие на похоронные процессии, измученные маршами, бомбежками, бестолковщиной. Он запомнил капитана, которого должен был судить трибунал за то, что его рота оставила свои позиции где-то на Двине. И его возили с собой, потому что отступали и трибунал где-то затерялся. Можно ли считать его виновным, когда свои позиции без приказа покинули армии, — целые фронты продолжали отступать? И капитан, и трибунал не более песчинок, подхваченных ветром. Но если хаос не остановить, то его нужно, по крайней мере, осудить и заклясть. Если всех виновных не наказать, то все-таки нельзя допустить самой мысли, что нет виноватых.

Давно ли думали о войне так: не будь ее — не совершить славных подвигов, не показать в газетах мужествен-

ных лиц героев. Не будет войны — и не совершиться в жизни справедливости. Но он видел полк, уничтоженный на марше: шли по шесть в ряд — так и легли. Со славой или в бесславье погибла пехота? Говори что хочешь. Говори со славой — и это правда, шли в бой, труса не праздновали. Говори без славы — тоже правда: врага в глаза не видели. Еще до славы и бесславья нужно доехать, домаршировать, доползти. Вот как война пошла. И он на своей фанерке не воевал, а шмыгал, как вор, накрытый ночью.

— Хуже не бывает... Я не полководец. Но каждый... — Чугунов теряет спокойствие — спрашивает: «Где наша авиация? Куда вы, дорогие соколы, заховались?» Как пехоте ответишь! Отвечал. «Со мной, братва, не пропадете. В моей фанерке ни снаряд, ни пуля не застревают. Чудо — аппарат! А главное, невысоко летает...» На летчиков не в обиде, а на тех, кто повыше. За хвастовство, за липу, за якшанье с фашистами. Но, капитан, это уже по части комиссара... А я вижу, у нас перемены?

— Заметил? С воздуха «петляковых» разглядел? Или на земле уже?

— Когда сюда шел. Сколько «пешек»?

— Эскадрилья. «СБ» передали в другой полк. Где-то южнее базируется. На неделе жду еще две эскадрильи.

— Не думаю, капитан, что вы скоро станете майором. Махонин рассмеялся.

— Иди, иди, а то столовую закроют.

С тарелкой поскребышей пшенной каши Чугунов опускается на стул. Столовка не освещается, керосиновая лампа горит на кухне, за окном раздачи. На кухне Луша и некий младший лейтенант. По ходу действия становится видно, что повариха этим лейтом не увлечена, а ухаживающий летун, если и потерял голову, то не от пламенной любви. Некрасивая Луша начеку. Подправляет волосы, кофточку и не без удовольствия, наверно, играет роль девицы строгого нрава. Лейтенант без воодушевления, но с упорством пытается найти в обороне слабые места. Забав-

но наблюдать, как и в этих делах важно сохранять свободу маневра. Луша то начинает наводить порядок на плите, то задает ухажеру вопросы, на которые он отвечает со злой скукой. Свой успех он полагает в сокращении дистанции. Но, когда ему кажется, что в этом он преуспел, Луша открывает огонь из всех видов оружия: меряет парня разгневанным взглядом, произносит наставления, приказывает покинуть кухню. Дистанция восстанавливается, и Луша смягчается.

Чугунов жует кашу и поглядывает на кухню. Если на свете есть место, которое он может назвать своим домом, то этот дом тут — в этом полку, в этой столовой. Усталость делает его спокойным, и он хочет воспользоваться передышкой — и выстроить свои мысли.

Он из того поколения, которое не столько жило, сколько жить готовилось. Сейчас он видит: люди действуют так, как будто продолжают выполнять учебные задания... Но чем дальше идет война, тем яснее становится: все пошло кувырком и будет так идти дальше. В тылу же с нетерпением ждут, когда же наконец всё пойдет согласно авторитетным предсказаниям. Капитан Махонин ждет, когда полк сформируется и он начнет воевать, как его учили на командирских курсах. Такие парни, как этот младший лейтенант, ждут, когда их бросят в бой. Они не сомневаются, что дела идут плохо лишь потому, что им еще не дали показать себя. Когда этого лейтенанта собьют еще до того, как он долетит до цели, он будет жить с обидой, если останется цел, будет считать: кто-то его сильно подвел. Что главное в опыте? Главное — итоги, которые можно из опыта извлечь. А где эти мудрые выводы?

Летчик отправляется к окну раздачи. Из рук Луши берет стаканы компота. Ее ухажера он, оказывается, знает: пару лет назад проходил у Чугунова летную подготовку. Младший лейтенант тоже его опознал. Восторга, впрочем, не выразил. Чугунов пьет компот и выкладывает на столе сливовые косточки — клин эскадрильи. Он устал —

и воображение берет верх. Да, да, — это летит эскадрилья. Потертые узоры клеенки сходят за рельеф пересеченной местности.

Кино между тем продолжается. Лейтенант пробует положить руку поварихе на плечо. Повариха оглядывается на Чугунова, ухажер тоже. Чугунов попросил компоту еще. Его воспитанник решил на этот раз поздороваться. Чугунов поставил локти на окошечко и хочет что-то сказать Луше. Из-за плиты вышла кошка, задрал хвост, обошла повариху. Чугунов выпил компот, вытолкнул языком косточки в стакан. Вышел молча. Он опять волочит ноги на КП. Махонин, насупившийся над книгой, напоминает летчику его старшего брата — Петра.

— Подзаправили? — Махонин показывает на стул.

— Не по норме, но ладно, засчитаем. Пришел сказать, сверху очень симпатично выглядят на поле заплаты. Где вы такой красивый гравий добыли?

— Верно говоришь, — оживился капитан. — Я уже распорядился присыпать гравий землей, но у нас на все дела одна машина. Можно было бы и ночью грунт повозить. Рядовой Тимофеев! — Из аппаратной выскочил долговязый белобрысый связист (что они здесь все из одной деревни?). — Вызови капитана Веселова.

— У меня не такое предложение, командир. Наоборот — гравий насыпать так, чтобы сверху казалось: дорога через поле проходит. Ну, а раз дорога, то какой тут аэродром может быть...

На траву ложится роса. Звезды подслеповато шурятся между облаков. В поселке гавкают собаки. До станции расстояние немалое, но слышно, как там паровоз толкнул вагоны. Звуки мирные и отстраненные. Можно подумать, что война идет только днем. В темноте встретился все тот же с трехлинейкой, который должен уничтожить при случае десант. Длинный Карабин и на этот раз испуганно уставился на летчика.

Чугунов дает прозвища по Куперу и Майн Риду. Брат говорит: чего ты ерунду-то читаешь. Есть такой писатель Оноре де Бальзак, его даже Маркс рекомендует читать.

Таскает с тех пор роман про папашу Гранде и его дочку. Скучный папаша. И что в описании жизни скупердяя Карл Маркс выдающегося нашел! Чего-то, значит, я еще не уловил. Может быть, суть дела в конце книги откроется. Около барака разговоры и смех. Поздоровался официально. Летчики расступились.

Барак стандартен. Такие он видел в Кулундинской степи и за Полярным кругом. Бараки — это большие поспешные планы и скудость. Пара расторопных плотничьих бригад за пару месяцев поставят поселок на тысячу человек. И, как везде, — топчаны, длинный дощатый стол с кое-как обструганными досками и печки-сушилки. На столбе пристроено зеленое зеркальце, какое найдешь в любом мужском общежитии, никогда не магазинное: то с автомашины снятое, то осколок, кое-как заарканенный в самодельную оправу. Половина топчанов пустует. Его место никто не занял. На подушке полотенце, которым он, кажется, так и не успел еще попользоваться до вылета на фронт. Стал раздеваться. Носки прилипли к ступне. «В баньку бы, в баньку!..» Подошел старший лейтенант. В прибывшей эскадрилье «пешек», оказывается, не только молодняк.

— Командир полка говорил, что кто-то должен вернуться с фронта. Это вы летали на фронт?

— Ха, — отозвался без улыбки Чугунов, — значит, до вашего прибытия я у него оставался единственным пилотом!

— Самоцветов, — представился летчик. — Вы как, на «ПЕ-2» летали?

— Я инструктировал полеты. А теперь, старлей, позволь мне взглянуть на жизнь с другой стороны.

— То есть?

— Уснуть.

Но уснуть не удалось. Авиаторы приходили и уходили. Вчерашнюю курсантскую бурсу одергивали один-два голоса. Тишина, скрип топчанов, и снова кто-то взрывается смехом. И опять суровые наставления из темноты.

Чугунову кисти своих рук кажутся непомерно большими — так всегда после многочасовых полетов. Мышцы тянут натруженную спину. Самое навязчивое — земля: бежит стремительно под самолетом, а спасение одно — лететь вот так, чуть не касаясь колесами луговых трав, и тогда деревья вслед за тобой вскипают, задетые пропеллерным воздушным потоком. А вот уже не земля, а речная стремнина, не самолет, а твой поплавок на перекате, где играет плотва. Смотри в оба, если хочешь подсесть рыбешку. Опять земля, видит немецкую колонну: тяжелые понтоновозы, сотни грузовиков с мотопехотой, тягачи с орудиями, а вот и танки, и мотоциклисты. И ни одного выстрела, ни одной заминки — змея все дальше вползает в страну. И снова искрит в глазах речная стремнина.

— А что это за лейт? — слышит приглушенный голос.

— В нашем училище инструктором был. Помнишь, тебе рассказывал, как меня отстраняли от полетов. Я еще рапорт писал... Так это он меня отстранял. Лютовал как контрик. Ребят до слез доводил. Многие рассчитаться с ним обещали...

— Фамилия какая?

— Чугунов.

— Я про него слышал, — зашептал третий голос. — Это он заставлял перед полетами курсантов плясать?.. Мне так рассказывали, доложит курсант: «К полету готов!», а Чугунов ему вопрос: «Плясать умеешь?» Тот: «Парнем был — приходилось». Инструктор: «А так умеешь?» — и присядку, к примеру, показывает. А тому что стоит присесть. Чугунов «А с коленцем?.. А гоголем, гоголем пройдишь... А в два притопа?» — Чугун пляшет, показывает. Курсач за ним. Чугунов «Барыню» запеваает: «А так?.. А так?» Руководитель полетов бушует: что там за цирк! А

Чугунов курсача заводит. Сам за барыню ходит. Пилоткой, как платочком, отмахивает. Курсачу смешно. Стих найдет — пляшет. Чугунов вдруг: «Смирно!» Глаза злые: «Вы почему, курсант, на полеты явились, как на похороны! Вам что, авиация — мачеха! Да какое вы имеете право идти в воздух с кислой физиономией! Вы думаете, у экипажа нет другого дела, как ухаживать за вашей бабьей меланхолией! Запомните раз и навсегда: все великие летчики — все! — шли в полет как на праздник. И еще запомните: мандраж и растерянность — продукт уныния... А теперь по местам! Посмотрим, петь в небе вы умеете или нет». И пошло. Как явится курсант с унылой физиономией — пляши «Барыню». И пока не приучались идти в полет с веселой рожей, Чугунов не отступал. И выучил.

— А правда, что если он начнет летуна по имени-отчеству называть, — считай, тому хана — не сейчас, так потом гробанется?

— Не колдун же он! Я тебе говорю то, что от других слышал. Разбивались потом люди.

И снова шепот:

— Представляешь, я с Лушкой шуры-муры, и вдруг кто-то в столовую является. Вначале не разглядел: сидит кто-то, шамает. А потом вижу, инструктор по полетам старший лейтенант Чугунов. Только без «кубаря». Весь настрой мне испортил.

— А куда «кубарь» делся?

— Была история... Пропал он, и всё. В училище нет, в городе нет. Одни говорят, из-за бабы убили. Другие — сбежал с секретными документами. У нас как раз стали новую технику осваивать. Представляешь, чепе! Объявили розыск. На каждом собрании командования училища вопрос: «А что известно о старшем лейтенанте Чугунове?»

— И что, нашли?

— Объявился. Месяца через два. Приказ: разжаловать в рядовые, но, учитывая и так далее, сохранить командирское звание младшего лейтенанта. Нас к тому времени из

училища уже выпустили. Выходит, один «кубик» он уже на курсах заработал.

— А тебе не приходило в голову... — возобновился после молчания разговор.

Чугунов громко кашлянул, потом еще раз, чтобы понятно было самым недогадливым. «Спинозы тамбовские», — пробормотал. На бок повернулся. Большая, оказывается, радость своих ученичков встретить.

Всё правда, думает он. Со стороны посмотреть — немало он в своей жизни начудил. Не первый раз о себе байки слышит. Но то, что колдуном прослыл, — это для него новое. Никому не доказывал, что есть у него чутье: присмотрится к курсанту — и всю его будущую летную биографию видит. Чувствует — и докапывается, в чем его земноводность гнездится, что летать ему мешает: боязнь высоты? страх перед техникой? неуверенность в себе? Или неисправимый для летчика дефект чувствовать себя от машины отдельно. Когда ты и аппарат — одно, тут и немой запоет. Потому так и тянет в воздух. Потому что на земле все и всё по отдельности, потому и болтовня, сплетни, фальшь... Потому на земле скучно... Скучно... И уснул.

3

На него, тридцатидвухлетнего, вчерашние курсачи смотрят как на старика. Чугунов не станет их разочаровывать. Медленно заправляет постель, не спеша готовится к бритвенной процедуре: вода, мыло, полотенце, одеколон. Он предвидит, скоро любопытство к нему достигнет критической точки. Он же преподаст урок выдержки и невозмутимости. Что стоит летчик, лишенный того и другого! Зеркальце дает возможность разглядеть своих новых сослуживцев. В бараке командиры экипажей, штурманы, старшие технари. Стрелки-радисты, аэродромная обслуга, оружейники — в соседней постройке. Оттуда прибега-

ют, когда есть новости. Павел Чугунов еще не задал ни одного вопроса, но уже узнал: что прилетевшие «ПЕ-2» не снабжены рациями (старая история, без связи были и «СБ»), что завтрак задерживается, потому что вчера забрали в армию Петьку, парня из поселка, который обеспечивал водой столовую, что начальник техобслуживания уехал ночью за горючим, но бензовозы еще не вернулись, что сводка Информбюро давно не была такой плохой. Есть сведения, что остальные эскадрильи придут скоро, — объявится Пятихатко, великий балагур, и Карташев — с ним не пропадешь. Но есть и «лбы», метящие в начальство.

В эскадрилью собрали с разных округов, училищ, некоторых завернули с гражданской авиации. Сведенные войной, случаем, приказом, каждый утверждает себя среди других. Народ рассортируется, но кто хороший летчик, кто — извозчик выясняться будет в воздухе. Успеть бы слетаться, думает он. Несколько тренировочных полетов — дневных, ночных. Перестроение в воздухе, отработка сигналов, несколько вводных, хотя бы основных. Хотя бы, хотя бы... Он узнает, что старший лейтенант Самоцветов выигрывает в шахматы у младшего лейтенанта Аганесова.

— Младший лейтенант, — говорит Чугунов в зеркало, — я бы не стал двигать пешку, пусть ходит конь с e4 на c3. И тогда старшему лейтенанту ничего не останется делать, как убрать своего «офицера». И тогда ваша пешка замариновует его Екатерину Вторую в ее загородном дворце на b2.

Аганесов спохватывается и ставит пешку на прежнее место. Чугунов рассматривает Вергасова — он вспомнил фамилию вчерашнего ухажера поварихи. Вергасов, заложив руки за голову, лежит на койке и упрямо смотрит Чугунову в спину.

— Говорить надо не «офицер», а «слон», — подправляет Чугунова Самоцветов. — Ты действительно летал на фронт?

— А в а м надо ходить турой, — отметив обращение на «ты», продолжает Чугунов.

Аганесов рассердился совершенно всерьез:

— Так вы за кого: за него или за меня?

— Не «тура», а «ладья», — упрямо подправляет старший лейтенант.

— Я?.. Я за тебя, младший лейтенант. Твой противник меня не понимает.

Среди молодняка есть парень, который с первого дня войны ведет дневник. Хорошее развлечение для авиаторов. Утром летописцу пересказывали сны и требовали, чтобы сегодняшнее запоздание завтрака было занесено в дневник и стало вечным укором работникам продовольственной части. Парень стойко переносит насмешки. Только что в уголке, насупившись, писал в тетрадь, теперь подошел и заговорил:

— А сильно вам досталось от немцев — весь аэродром перепахали!

— Дураков только ленивый не учит, — Чугунов, закончив бритье, обхватил лицо мокрым полотенцем.

К столу понемногу собирается население барака. Чугунов одеколонится и закуривает. Поговорить надо. То, что нужно сказать, не скажешь каждому по отдельности. Нужно показать, какова война на самом деле. Газеты рассказывают, как «наши славные воины» бьют трусливых фашистов, но как понимать, почему немцы уже в центре России (по утренней сводке бои идут уже на Могилевском направлении)? Может быть, газетная брехня имеет цель, обывателю недоступную, но им, летчикам, которых специально готовили для войны, нужно знать, как война делается.

— Я повторяю, дураков только ленивый не учит. Могу рассказать, как это делается. Если кого-то это интересует.

— Говори, лейтенант, — Аганесов смахивает шахматные фигуры с доски.

— Так вот, — Чугунов присаживается на край стола, — в тот день в десять ноль-ноль над аэродромом пролетел «фоккер». Ганс разглядел наши «СБ», снизился, сделал

фотоснимки, наши бомбовозы вышли грозными и фотогеничными. — Чугунов делает паузу, чтобы народ привык к его манере выражаться. — Потом полетел домой, напевая: «Ах, мой милый Августин, Августин...» Что делали в это время наши пулеметчики? Васька кричит Петьке: «Петь, глянь, какой чудной пузырь летит: два фюзеляжа, а хвост один». Петька: «Да это, не будь я конопатым, фашист!» «Откуда ты знаешь! Мы его пугнем, а нам потом по шапке. Беги, взводному доложи». А что в это время делает командир пулеметного взвода? Он лежит вон на той койке и мечтает. «Эх, думает, не будь войны, какие бы пельмешки Верочка бы сделала!» А что интересного происходит в голове начальника штаба? «Оповещений о появлениях самолетов противника не поступало. Никаких враждебных действий немецкий разведчик не совершил». Так он рассуждает на тринадцатый день войны, когда немцы свои рожи уже в Днепре моют.

Теперь посмотрим, что делает командир немецкого бомбардировочного полка Ганц Мюллер.

— Откуда ты знаешь: Ганц Мюллер или кто?

Вопрос всех рассмешил. Чугунов игнорирует вопрос и продолжает:

— Ганц Мюллер в двенадцать ноль-ноль получает проявленную фотопленку и выслушивает рапорт наблюдателя «фоккера». Снимает трубку и: гуттентаг, Фриц Кунцштюк. В районе Троицкого у русских сосредоточена эскадрилья бомбардировщиков. Истребителей в воздухе не замечено, зенитное прикрытие не наблюдалось. «Я думал проучить немножка русских свинья». — «Ол райт!» Кто это говорит? Это говорит командир воздушной дивизии Фриц Кунцштюк.

— Они «гут» говорят, — учит Чугунова Самоцветов.

— Но у Ганца Мюллера нет на аэродроме ни одного бомбардировщика. Почему? — Чугунов всех обводит глазами. Летчики не смеются. — Да потому что они все в работе. «Не огорчайтесь, господин Ганц, — говорит началь-

ник штаба своему шефу. — Мы еще успеть. Русские любят пельмешки и мечтать. Мы еще успеть». В тринадцать ноль-ноль самолеты возвращаются. Экипажи докладывают: «В районе Пскова я взорвал два бензохранилища и танковый корпус остался без горючки. Теперь их будет брать голый ручка». — «А я, господин полковник, расстрелял на дорогах пять тысяч беженцев — женщин, стариков, детей. Они очень смешно разбегайся»... «Зер гут! — выносит Мюллер им благодарность. — Гитлер вам всем даст по большой медали».

У немцев наступает обеденное время. Два часа они жрут сосиски с кислой капустой и играют в шахматы е2—е4. После обеда они вылетают поставить мат нашему полку.

А что в это время делается на аэродроме славного энского полка? «Васька, — говорит Петька, — дурики мы. Надо было шпарить по этому двухфюзеляжному. Летел прямо над головой». — «Да, — говорит Васька, — представляешь, если бы мы этого “фоку” завалили! Вот шуму было бы! Весь поселок прибег смотреть. А нам бы — не по ордену, а по медали точно на всю грудь дали. В газете пропечатали бы: “Огонь ведут снайперы-зенитчики”». А что делает командир полка? Он — думает. Раз пролетел разведчик врага, нужно ждать налета. Будем устраивать капониры. Будем доставать материал, инструмент, запросим одобрение. А сегодня?.. В 15.30 «юнкеры» поднялись в воздух. На аэроснимках было хорошо видно, как расположены наши «эсбушки». Поэтому план был разработан еще на земле.

А что делает командир пулеметного взвода энского полка? Он слоняется по аэродрому и мечтает: «Не будь войны, мы бы сейчас с Верочкой могли бы пойти в кино. Замечательная кинокартина “Музыкальная история”». А летчики? После занятий на тему «Знай лицо врага» травят баланду. В 16.10 немцы подходят к Троицкому. Идут со стороны солнца. Наша система оповещения сработала, но —

поздно, немцы уже на боевом курсе. В 16.22 все было кончено. Помахав на прощание крылышками, фашисты уходят восвояси, сделав, конечно, контрольное фотографирование.

Рассмотрим эти снимки. Из одиннадцати «СБ» семь превращено в кучу лома, один еще полетает — его собьют подо мной на следующий день, три имеют пулевые и осколочные повреждения. Забыл упомянуть «У-2». Горит склад ГСМ. Летное поле превращено в полосу препятствий. Три летчика получили серьезные ранения. Сгорели две автомашины. Один шофер и два бойца из роты охранения убиты. Верочка, симпатичная молодая жена командира пулеметного взвода, тоже скоро получит известие, что ее муж погиб при выполнении боевого задания. Под взрывами бежал к пулеметному расчету ДШК... Хватит или продолжать!..

Папироса в руках догорела. Летчики стоят молча. В бараке стали слышны удары в рельс — сигналият к запоздавшему завтраку.

— Познакомимся. Моя фамилия Чугунов.

К Чугунову один за другим подходят летчики, называют себя. По рукопожатиям чувствует, что стал своим. Аганесов даже обнял его. Теперь наступил момент произнести свою главную заповедь:

— Самое важное, товарищи, научиться из опыта делать верные выводы.

У Чугунова спички есть, но за огнем обратился к Вергасову. Его воспитанник долго копается в карманах. Чугунов сказал ему в ухо: «Что же вы не сказали вчера своим приятелям, что инструктор по пилотажу Чугунов убежал из училища не к бабе под юбку, а в Монголию воевать!» Рука Вергасова со спичкой дрожит, лицо бледнеет.

Теперь осталось собрать бритвенные принадлежности и уложить их в тумбочку.

Экипажи идут в столовую толпой. Справа и слева задают вопросы. Он отвечает. Есть среди них и такой, который он будто бы не слышит. Штурмана Свиридова, который этот вопрос задает, летуны одергивают. Но штурман забежал вперед и опять упрямо спрашивает:

— Значит, вы утверждаете, что у фашистов все лучше!

Это «вы утверждаете» наводит на Чугунова глухую тоску. Он делил людей на две категории— «стратегников» и «практикантов». Самочувствие «стратегников» в этой жизни зависит от того, как определяются глобальные проблемы. Им кажется, что благополучие мира держится на правильности формулировок. Они не способны различать то, что у них перед носом. Этой слепотой они и опасны. «Практиканты» — другие, они не понимают, какой толк в словах, не называющих вещей, которые можно потрогать, развинтить, покрасить и смазать. Они не против послушать споры «стратегников», но не потому, что хотят обрести познания по части высоких материй, — их привлекает в таких спорах ловкость соображения и острое слово.

— Самое опасное, — начинает Чугунов издалека, — глупость. Глупость вредит дураку, но она опасна и для окружающих...

Летчики начинают улыбаться. Они, наверно, уже хорошо знают Свиридова, и не чувствуется, что его горячо любят. Чугунов еще надеется, что ему не понадобится продолжать речь.

— Не можете ответить! — усмехнулся штурман.

На этот раз лицо Свиридова показалось Чугунову нехорошим. Чугунов зол, но продолжает улыбаться.

— Я, как *лейтенант*, не обязан отвечать на вопросы *младшего лейтенанта*, как младшему по званию.

Эскадрилья забыла про столовую, окружила оппонентов. Самоцветов, который, похоже, всегда все воспринимает серьезно, добавляет:

— А что! Лейтенант, к вашему сведению, может держать младшего лейтенанта по стойке «смирно» сколько захочет.

— Это я в другой раз. А сейчас, как старший по званию, я считаю своим долгом передавать младшим свой опыт. Так вот, товарищ младший лейтенант, нужно знать диалектику. Поняли, где ответ нужно искать?

— Диалектика! Понял!!! — кричит Аганесов, у которого симпатия к Чугунову перешла в восторг. Он сильно ударяет Свиридова по плечу. Штурман обиженно бубнит: «За кого вы меня, лейтенант, принимаете».

Ого, отмечает про себя Чугунов, напугал стратега.

— Некоторые думают так: «диалектика — наука» — и аминь. Для чего нужна диалектика? Вот Мельников нам скажет. — Мельников, парень с чубом, отмахивается и загораживается другими.

— Давай, давай сам! — кричит Аганесов.

— Так вот, диалектика нам нужна только в одном случае. Когда в голове у нас одно соображение, как бы порубать, это не диалектика. И когда четыре «мессера» сбивают один «ТБ», ее здесь тоже нет. Диалектика нужна, Свиридов, когда перед тобой сложное явление. Понял?

— Сложное явление! — торжественно поднял палец перед носом Свиридова Аганесов.

— А война — явление сложное. И почему мы отступаем, и почему нас крошат на аэродромах и гибнут летчики, а среди них такие летчики! — мы же в это время ведем разговоры о том да о сем, — тоже диалектика. Если бы нам сейчас дали две тысячи «Петляковых» и три тысячи «лагов», немцев на Днепре не было бы. Но, когда мы получим эти тысячи, может получиться так, что не останется ни одного стоящего летчика. Я знаю, как трудно произвести на свет хорошего летуна.

— Так вы что, предлагаете не летать?

— А почему, Свиридов, я начал с тезиса о дураках?..

Эскадрилья хохочет, смеются и те, кто мало что понял, разве то, что штурману крепко надрали уши. Чугунов взял оппонента под локоть и повлек в столовую.

Столовая выглядит, как в старые мирные времена: на столиках белые скатерти и графины, каждому ложка и вилка. Официантка — Надя, на ней передничек и кокошник, как из приличного ресторана. Надя ставит на край стола поднос с тарелками. На маленьком подвижном личике блестят карие глаза. Еще до вылета на фронт он придумал ей прозвище — Доброе Утро.

— Товарищ лейтенант, где вы пропадали? Я несколько раз у капитана спрашивала.

— А что, интересно, Махонин отвечал Доброму Утру?

— Выполняет задание.

— Могу доложить, — Чугунов прикладывает палец к виску, — задание выполнено.

— Вы могли бы ко мне относиться серьезнее.

— Ах, Надя, что поделать — у нас вся семья была веселой.

Чугунов исчерпал свои способности вести светский разговор. Он думает о Насте, которой обещал каждую неделю сообщать, хотя бы «жив-здоров», но так ни одного письма ей не отправил; о том, что только у авиаторов такие перепады: только что был в пекле войны, за тобой охотились, как за зайцем, и вот — занавесочки на окнах, вилка слева, ложка справа, и жизнь обычная, похожая на игру, в которой никто не проигрывает.

Входят и садятся за своим столиком начальник штаба Стенин и заместитель командира по технической части. Летчики отряжают к начальству штурмана Галкина, о котором Чугунов лишь слышал, что за день до начала войны от него ушла жена. Галкин возвращается — новостей нет. Чугунов перекладывает в тарелке лапшу с места на место. В гуле речей слышит свои слова «воевать не умеем», «у немцев учиться надо», «так раздеть штурмана»... Чужая беззаботность перебивает тревожные мысли. Будто кто-то

в уши шепчет: радуйся, радуйся, пока жив и здоров, потому что день солнечный, потому что нравишься вот этой Наде, еще можешь людей завести — вон как шумят! Но Чугунов сегодня не может сказать ни себе, ни другим **ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО**, как на заволжском аэродроме.

Жизнь прошла безалаберно. Такого старого лейтенанта, наверно, в воздушных силах больше не найти. И не нужно было обижаться на прозвище «Агрегат», которое привязалось к нему в училище. Он агрегат и есть. И все же от себя никогда не откажется.

Он не откажется от того пацана, который в летнее утро высматривал в небе аэроплан. На берегу реки с удочками они с братом, задрав головы, следили за его полетом, далеким и отрешенным. Старший Петька сказал: «Вот не страшно-то!» — «А чего такого-то. Мне бы дали, и я б полетел!» За эти слова брат схватил Павла за шиворот и стал трясти — не любит старший хвастовство. Помнит свое тогдашнее: «Ну! Не замай!» И неизвестно откуда взявшееся упрямство: да, он полетит, полетит, хотя бы для того, чтоб одержать верх над братом. И полетел, и прислал письмо с фоткой: в летном комбинезоне и в шлеме стоит, опершись на крыло «АНТ-3». Мокрогубый летчик и один из первенцев советской авиации похожи друг на друга. Он любит большие самолеты, в которых, как говорил, «можно жить, а истребитель — не самолет, — аттракцион». Он и сейчас одобряет себя, палящего папиросу за папиросой в ту ночь, когда все решил паровозный гудок на станции. Не говоря никому ни слова, покинул военный городок летного училища, в котором вдруг осторчертело все, и уже через пару часов ехал товарняком к Байкалу. Потом где пешком, где машиной добрался по Монголии до района военных действий.

Глупый, мальчишеский поступок. Но он любит себя за то, что способен был его совершить, за свое спокойствие, с которым в ожидании решения своей судьбы сидел под арестом в глинобитной развалюхе в компании с пауками и

сороконожками, за упрямство, с которым на все обвинения повторял: «Я не дезертир. Дезертиры из тыла на передовую не бегут».

Ночью вошли трое. Он догадался, кто они. Капитан с выпуклыми глазами и пьяной улыбкой спросил: «Так кто тебя, ворона, в Монголию заслал?» И сразу ударил. Бил в подбородок — хук. Но немного промазал. Нокаут не получился. «Так кто, говоришь, тебя сюда заслал?» И снова удар. Успел повернуть голову так, чтобы кулак не вывернул челюсть... Ему часто потом снилось: его бьют, он задыхается от боли и ярости, а его руки связаны, или хуже — их нет, он машет коротышами-обрубками и плачет от своего бессилия. В последнюю новогоднюю ночь залил у Насти постель кровью. Тот же сон: его бьют, а руку из тяжелых рукавиц не вытащить. И вдруг подсказка — БЕЙ РУКОВИЦЕЙ! И врезал. В стенку. Боли не почувствовал. Хотя разбил костяшки вдрызг. «Ну, а если бы мне попало!» — бинтовала руку Настя. Не совсем еще понимая, что произошло, сказал вроде бы ни к селу ни к городу: «Проверка, Ньюша, проверка».

В ту ночь в монгольском сарае его спасла мысль: его, летчика, бойца, в конце концов, гордого мужика, — нет, не лупят, а есть такая проверка. Так проверяют. А ты держись, не качайся, ни стона, ни звука. Ведь если бы не пришла эта мысль, бросился бы на капитана.

На следующий день, после того как доставленный к большому начальству признал свой поступок хулиганским, он уже летел в составе эскадрильи на «братской могиле» — «ТБ». При развороте на обратный курс не мог не отстать (моторы бомбовоза давно уже израсходовали свой ресурс) — и остался в небе один над серой степью и чудом отбился пулеметами от японских «митцубиси».

Он не испытал обиды, когда в один и тот же день узнал, что Указом награжден медалью «За отвагу» и... разжалован. Так могло случиться только с ним, Чугуновым. Когда командирское звание восстановили — и этому не удивил-

ся. Он понял, что кому-то он нужен таким, какой он есть, и есть другие, которые будут ломать ему спину за то, что он такой. Он жалел тех, кто не понял своего предназначения, — и берет на себя или слишком много, или слишком мало. И за это поплатится, если не сам, то другие. Знал еще, где ни появится, там что-то переделает или переменится само собой. Своим пороком считал хвастовство. Готов в этом покаяться. Но перед кем? Не перед служебной же братией. Товарищи сегодня одни. А завтра другие. «На Запад поедет один из вас, на Дальний Восток — другой». Песня оправдывала его. Он часто пел ее в полете.

Чугунов с Аганесовым вышли в поле. Солнце поднялось высоко. Над травой и в траве гудела скачущая и летающая мелкота. Когда-нибудь изобретатели смастерят механизмы, которые позволят человеку беспечно стрекотать в воздухе.

По другую сторону аэродрома, у «Петляковых», суетятся механики. Медленно катит к ним бензовоз. В пулеметной аппарели расчет набивает патронами ленты. Всё не так уж плохо. Всё идет своим чередом.

— Аганесов, скажи. Как ты выбираешь себе друзей? Наверно, как они будут выглядеть на твоей свадьбе?

— Не обижай, Павло... Не так я смотрю. Я смотрю — в глаза.

— И всё?

— И всё, — твердо говорит Аганесов.

— И что же там видишь?

— А! Когда горы. Когда глупость. А когда вижу песню жалобную-жалобную. А бывает, вижу собаку! Сейчас заляет.

— А что ты видишь в моих?

— Могу сказать. Ты большой человек. Не понятно?.. Как грузовик! — и захохотал довольный.

«Ишь ты, — подумал Чугунов, — “грузовик”. Когда курсантом был, дружки прозвище навесили “Агрегат”. Расту по прозвищам».

4

Чугунов ходит взад-вперед, от дверей барака до стены с картой «Европейская часть СССР». Согласно чьей-то инструкции, линию фронта на карте отмечать не разрешается. Объяснение такое: «А ты знаешь, как проходит линия фронта? Ах, не знаешь. Так, значит, нечего ее и изображать».

Обиженно шумит Галкин:

— Неужели ни у кого нет закурить?

— Иди к стрелкам — проси махорку.

— У них вчера еще всё перестреляли. Пойду в сельпо.

— Пустое дело, завозу не было.

— Бросай курить, Дима. Кто не курит, кто не пьет...

— Начснаба гнать надо...

Чугунов прибавляет скорости. Летчик немного приволакивает ноги. Это походка матерого авиатора. Так ходишь, когда за спиной тащишь парашют. «Вот, гады!» — запоздало изумляется он и снова про себя повторяет: «Гады, гады, гады...» И не вчера и не позавчера, когда за его «фанеркой» гонялись «мессеры», а сейчас, за сотни километров от фронта, запоздало дошла с отчетливостью мысль: его же могли убить! Убить его, Чугунова. И убить не один раз. Хотя, что может быть на войне этого проще. Случайно или не случайно кто-то кому-то ставит на войне точку. Он видел, как это делается. Но сейчас, в это тихое солнечное утро, всё запротестовало в нем против такой возможности — приступ ярости на всех, кто хотел его искалечить, убить, вогнать в землю, накатил на него. Он восстал и против тех, кто в будущем попытается это сделать. Он может согласиться со случайностью смерти, но то, что он может стать обреченной мишенью для какого-то немца, — эту возможность он для себя исключал. Он думает так: как могут победить в войне вот эти не ведавшие почему фунт лиха парни, если не победит в войне он, Чугунов! Как?

Давно в бараке утихли разговоры. Кто с недоумением, кто с насмешкой пялится на лейтенанта, шагающего взад-вперед по шатким половицам со свирепым видом. Самоцветов крутит пальцем у виска — задвинулся, мол, коллега. Озорной штурман Мамзин дважды, копируя Чугунова, прошел тем же маршрутом за его спиной, но летчик его даже не заметил. Тогда Мамзин пустил по полу яблоко под ноги Чугунова. Летчик отбил яблоко и пошел дальше как ни в чем не бывало. Хохот заставил его поднять голову. Огляделся, барак продолжал заливаться еще пуще. Вспомнил: кажется, кто-то просил закурить. Кто? Вытащил пачку папирос и бросил на стол. Авиаторы курят и разгоняют дым — разведка доложила, что в сторону барака направляется начальник штаба, он считает курение в помещении «грубым нарушением внутреннего порядка». Чугунов улыбается:

— Чего вы?

Молодняк курит, кашляет, хохочет. Мамзин подбрасывает и ловит яблоко. В воображении Чугунова такая картина: он на «У-2» уваливает от охотящегося на него «мессершмитта», а эти лоботрясы расселись на высоких холмах, покуривая, и над ним потешаются. Пентюхи!

— По местам! — командует Самоцветов. За окном проходит Эн-Ша.

У начальника штаба Стенина синие губы, на висках облезлая седина, в голове задвиг, если в мирное время с отступлением от уставов еще можно было как-то мириться, то теперь всякое своеволие должно сурово пресекаться. Построения, проверки, отдавание чести, внешний вид, соблюдение распорядка дня — всё должно исполняться без каких-либо послаблений. Чугунову Эн-Ша не нравится: конечно, враг наступает, нужно что-то срочно делать. Но у многих начальников «нужно что-то делать» превращается в делать что-нибудь. Эскадрилья огрызается: почему не прибыли до сих пор остальные эскадрильи, по-

чему не летаем, почему не выдано личное оружие, когда «пешки» оборудуют рациями? Почему?.. Почему?..

Стенин:

— Я не разрешил задавать вопросы... Я еще не закончил говорить... Это посиделки или... Это воинское подразделение или... — И перешел в наступление: — Вчера младший лейтенант Вергасов ударил работника пищеблока гражданку Потапову. От отца пострадавшей на имя командира части поступило заявление. За позорный поступок Вергасов будет наказан со всею строгостью законов военного времени. Вот до чего доводит расхлябанность и...

Чугунов не сразу сообразил, что гражданка Потапова — это же та самая повариха Луша. Так вот чем закончились вчерашние ухаживания его бывшего питомца! Летчикам противно: кто бы мог подумать, что кто-то из своих может ударить женщину. Летчикам противно — Стенин размазывает грязь по всей эскадрильи.

— Моральное состояние личного состава, как видите, желает много лучшего. — Капитан поморщился, его маленькое личико стало совсем куриным. — Я думаю, что проверка боевой подготовки эскадрильи тоже даст самые плачевные показатели. И такую проверку мы устроим. С завтрашнего дня начинаем тренировочные полеты и проведем экзамены по теории пилотирования и бомбометанию. Что у вас?

— Какие могут быть экзамены! — волнуется Самоцветов. — Мы не с курсантской парты попали сюда. Где учебные пособия? По каким материалам будем к экзаменам готовиться?..

Страх летчиков перед экзаменами воодушевил Эн-Ша.

— Я уверен, что у многих из вас в голове давно уже пусто. Но вместо того, чтобы восстанавливать знания, вы хулиганите самым недостойным образом. Не все, разумеется. Если бы все, то и нас, ваше командование, руководство отдало бы под трибунал. Я надеюсь, что среди вас все-таки найдется командир, который *в состоянии* организовать занятия.

— Я могу! — кричит Аганесов.

— Вот и прекрасно.

— По строевой подготовке.

— Очень остроумно! Самое время шутить, когда немцы подошли к Могилеву. Так кто же возьмется организовать занятия?.. Замечательно! Таких нет. А вы, лейтенант, что встали?

— Я не преподаватель, — сказал Чугунов, — но, если меня попросят, я могу провести занятия по бомбометанию и пилотированию.

Стенин сложил губы в саркастическую усмешку по поводу «если меня попросят», но Чугунов опередил его. Он сказал, поскольку приказа о назначении его руководителем занятий нет, а просьбы еще не услышал, свое предложение снимает.

— Соответствующий приказ о назначении вас временно руководителем летной и огневой подготовки будет отдан сегодня. И сегодня же начните занятия.

— Тогда у меня к вам вопрос: бомбометание проводить по Федорову или по Игнациусу?

Начальник штаба внимательно посмотрел на Чугунова. В вопросе лейтенанта заподозрил подвох.

— Проводите занятие по руководству Томаса Иваныча.

Теперь взгляды обратились на Чугунова, чем он ответит на этот ход.

— Вы имеете в виду Игнациуса?

— Разумеется. Позволю вам заметить, я был лично знаком с Томасом Иванычем. — По Стенину было видно, что строптивость в любой мере уничтожала в его глазах все достоинства подчиненного. — А кто еще, интересно было бы знать, мог бы взять на себя проведение занятий? — обозрел летчиков Эн-Ша.

Аганесов встал:

— Когда немцы подходят к Могилеву, не будем, товарищ капитан, зря тратить время. Не станем же вызывать телеграммой этого Игнациуса. Я помню, что есть угол

«фи», но кто он и зачем, моя голова забыла. Пускай Чугунов прочистит нам мозги.

— Для ответа на этот вопрос, — сказал Чугунов, — не нужно вызывать из академии Томаса Иваныча, — он чувствовал, что если еще раз назвать имя «Игнациус», барак сорвется — захохочет во все горло. — Угол «фи» — это угол, образованный линией прицеливания и линией пикирования.

Чугунов понимает: Стенин не хочет, чтобы такой человек, как он, возглавлял занятия. В армии любые назначения рассматриваются, прежде всего, с точки зрения, является ли оно наказанием или поощрением, повышением или понижением по службе. Доверить ведение занятий — значит поставить лейтенанта с сильно подпорченным послужным списком в особое положение. Опытным глазом Эн-Ша видит: лейтенант подобающих выводов для себя не сделал.

— Товарищ капитан, — говорит Чугунов, снова поднимаясь. — Я сделал ошибку, отозвавшись на ваше предложение.

— Что такое! — Чугунов не без удовольствия выслушал начальственный распекон, по которому можно было догадаться, что Большое Ухо (такое прозвище он дал Эн-Ша) немало лет отдал службе в каком-то разгильдяйском гарнизоне. Сам же Чугунов выговорами гордился, если их получил за отступление от распоряжений, отданных дураками. Начинать бы службу заново, возможно, не лез бы на рожон, стал бы хитрее, осмотрительнее. Но менять себя теперь поздно.

— Вы должны ценить доверие, которое вам оказывает командование, — этими словами Стенин закончил свой разнос. — К моему предупреждению о проверке знаний отнеситесь со всей серьезностью, — и направился к двери, указав на выход Вергасову.

Чугунов вырывает из тетради двойные листы и раздаст летчикам. И думает, что-то подобное в его жизни уже

было — наяву ли, во сне ли?.. Да это деревенская школа! Учитель вот так же вырывал листы из тетради, раздавал классу — будет контрольная. И также стоял гомон.

Народ толкует: Стенин мелочен и злопамятен, проверку знаний начальство устроит обязательно и каким-нибудь подлым образом, а ему, Чугунову, летуны примеряют прозвище «Игнациус»... И ни одного слова о Вергасове, как будто он перестал существовать, а полчаса назад готовы были намылить ему физиономию. Сейчас их волнуют опасности, таящиеся в уравнениях с двумя неизвестными.

— Запишите условия задачи, — говорит Чугунов. — Цель — бетонный мост автострады. Г равно 20 метрам, Б — 120 метрам. Г, напоминая, обозначает ширину, Б — длину цели. Бомбы — фугасные, вес — 250 кг, взрыватель мгновенного действия, число сбрасываний — четыре. Строй звена — клин. Прицеливание индивидуальное. Угол пикирования...

Летчики бубнят, заглядывают друг другу в листки. Чугунов не станет вмешиваться. Хорошо, если в эскадрилье найдутся один-два человека, которые сообразят что-то тут, товарищи, не хватает, чтобы теоретическими бомбами поразить теоретический мост. Отошел к окну посмотреть, как разогревается июльский день. Пожалуй, каждый день вспоминает брата, который всю жизнь реальные цели хочет поразить теоретическими бомбами. В последнюю встречу спорили, как всегда, безжалостно. «Тебе доложить, что дала тебе теория?.. Чахотку и нищету. А за разговоры на слишком умные темы упекут за проволоку. И народ скажет: “А где их, юродивых, еще держать!”» Петр отвечал: «Пойми, голова садовая, без теории ты всю жизнь будешь барахтаться на мелководье случайных фактов». — «Я не случайный факт. Я учусь летать и учу летать. ЛЕТАТЬ! — это мелководье?! Ты на себя посмотри, на что ты изошел? На проекты, которые ни одной мыши не нужны».

Павел Чугунов любил брата и признавал, что Петруха — книгочей, философ, спорщик — в чем-то мозговитее и —

что сразу не увидишь — смелее его, человека военного. Но готов был признать лишь после того, как их вновь разделяли сотни километров и затихала сострадательная злость, с которой смотрел на бледное, с широко расставленными глазами лицо старшего, лицо фанатика и дилетанта, воюющего со всеми на свете, — с райкомами и деревенским попом. Не будь революции — быть ему монахом-начетчиком или сектантом. А сейчас не расстанется с Марксом и Дарвином — только их книги признает твердо и, куда бы ни ехал, всегда берет с собой. Запихивает в чемоданишко еще тощий свитер, потому что, бывает, мерзнет и в летний день, бутылку водки и шпик — это тоже для согрева, но уже душевного.

Спроси его, зачем он время и здоровье на чтение гробит — редкий день в постели спит, — «В интересах истины, Павлуха, — вот что ответит. — Нельзя, брат, к истине стремиться и не стремиться, нельзя жить так, будто истина есть и будто нет ее». — «Ну, а баба, — как-то спросил его, — истина или нет?» — «Баба — не истина, истина либо есть в бабе, либо — нет. В ее сознании, в ее голове». — «Ну а я-то стремлюсь не к голове, не к сознанию — на хрен оно мне!» — «Правильно, — сказал Петр, — истина тебе и задаром не нужна. А сознание таких людей, как у тебя, называется “вульгарным”. Сказать, кто ты? — вульгаризатор!» — «Ты меня не пугай. Ты думаешь, скажешь вуль-га-ри-за-тор, — я пойду и утоплюсь!» — «Неужто к Маришке отправишься!» — с изумлением спросил Петр, ибо не понимал, как можно говорить просто так, для спора-задора. А раз, соответственно, выразился о бабе — значит, прямо сейчас отправится Павел к Маришке, бабе лживой, скандальной и доступной, известной скоростью во всех этих делах. А как же еще, если у человека убеждение такое! «Погоди, еще чай попью и подумаю, где у нее истина находится, в голове или в другом каком месте». Только тогда Петр о шутовстве Павла догадался и смеялись до усталости, ибо иногда понимали друг друга поверх петушинных споров и гордились друг другом перед чужими.

Летчики потеют, переругиваются. Они еще не догадались, что задача не решается, он опустил некоторые данные, чтобы преподать пример: важно не только знать свою цель, но и необходимые условия для ее достижения. Некоторые уже уперлись: вот здесь что-то не хватает, но не могут предположить, что правила нарушены с самого начала.

— Думайте, орлы, думайте.

В окно видно, как у штабного домика остановилась легковая машина. Мелькнули фигуры в командирской форме. Им навстречу колобком выкатился Махонин. Как большинство летчиков, Чугунов доверял своим предчувствиям — ожидание, что сегодня должно что-то случиться, очень для него важное, не покидает его с той минуты, как утром открыл глаза. Он уже уверен, что происходящее там, у Махонина, имеет непосредственное отношение к его предчувствиям. Он делает глубокий вздох, как перед тренировкой со штангой. В таком состоянии он видит всё вокруг себя, словно освещенным ярким светом, как если бы это всё он обязан запомнить навсегда.

— Что там? — кто-то спрашивает из-за спины.

— Продолжайте решение. Перерыв через десять минут.

Теперь вдоль взлетной дорожки бежит боец, держа пилотку в руке. Уже видно искаженное бегом лицо и как ноги хлюпают в голенищах кирзовых сапог. Забеспокоились механики, некоторые оставили самолеты, подались вестовому навстречу. Чугунову осталось лишь усмехнуться, когда боец влетел в барак и выпалил, что командир полка приказал Самоцветову и Чугунову срочно явиться на КП.

5

Капитан Махонин тычет пальцем в карту и заглядывает летчикам в глаза. Он начал ставить задачу не с того конца и поэтому должен начать с начала:

— Вот здесь, — он показывает на карте, как врачу показывают больное место, — переправа. Сегодня утром противник навел переправу и выводит на восточный берег свои механизированные части... Дело не только в этом... — Чугунов приблизился к карте: синяя артерия реки с жилками притоков, черные кляксы городов, красные капилляры — шоссейных дорог.. — А вот по эту сторону, — тыловой стороной ладони Махонин ведет на восток, — нет ни одной нашей части, ни одного заслона...

В стороне, переступая начищенными сапогами, молчит незнакомый подполковник. Командир полка предоставляет ему слово.

— Командованию, чтобы организовать оборону, нужно время... время... время, — сердито проговорил подполковник.

— Алексей Николаевич, — окликнул Махонина Чугунов, — ставьте задачу.

Все оказалось хуже, чем можно представить. Силами всех имеющихся самолетов полку приказывалось нанести удар по переправе, при этом ее разрушение не считалось выполнением задачи. «Ну что с того, что вы распиздярите несколько понтонов, — через полчаса они их заменят, — грубо выразился подполковник. — Основная задача — задержать работу переправы насколько можно». Из-за этого «насколько можно» туманность распространялась на все задание. Наверно, потому так и путался и сбивался Махонин. Из «насколько можно» вытекало, что возвращение «петляковых» на аэродром не ожидалось. Более того, подумал Чугунов, их возвращение становилось, по меньшей мере, свидетельством плохо выполненного приказа. Вот почему всё, что происходило на КП, не было похожем на обычное получение задания, вот почему на лице командира полка всё как-то сместилось. Представитель высокого командования выступил вперед и еще раз пояснил задачу. Он обращался к Самоцветову, как старшему по званию, но, когда подполковник закончил, Махонин сказал, что эс-

кадрилью поведет Чугунов. Старший лейтенант покраснел, Чугунов усмехнулся. Произошла неловкая заминка.

— Разрешите выполнять?

Капитан что-то хотел добавить, но лишь коснулся Чугунова своим коротким тяжелым телом и отвернулся.

Долго ли были на КП, а будто полдня прошло. Солнце нещадно палит с белесого юга, кажется, еще немного — и вспыхнет трава невидимым пламенем. Сразу взмокла под гимнастеркой спина, тесен ворот и будто устал. Барак остается слева. Наверно, что-то нужно взять с собой. В его тумбочке бритвенный прибор, «Евгения Гранде», конверты, грамота, скрученная в трубку: по штанге был рекордсменом училища, несколько писем: «Здорово, брат...», «Здравствуй, сыночек Павлуша...» Нет, всё у него с собой. Всё? Что-то все-таки там оставил... Нет. Ничего. Ушла тревога, томившая с утра, потому вдруг и пусто стало. Самоцветов глотает слюну, хочет что-то сказать. Что они могут сказать друг другу. Чугунов не знает *летчика* Самоцветова, Самоцветов — *летчика* Чугунова.

«Петляковы» развернуты фюзеляжами к роще. Трава прижалась к земле, кусты взмахивают ветвями, пропеллеры гонят вихри пыли в полусумрак деревьев. Экипажи, взбудораженные неожиданным приказом, облакаются в летные комбинезоны. Тут и оружейники подвешивают бомбы. Пока командир полка отдавал приказ, Стенин загонял всех. Рев моторов покрывает все звуки. Самоцветов что-то хочет докричать в ухо Чугунову. «Вергасов? Какой Вергасов! При чем здесь Вергасов?!...» Ах да, ах, вот оно что! Вергасов, этот посредственный летун, плохой ухажер, вчера должен был ударить безобидную повариху и пойти под суд, чтобы он, Чугунов, мог занять место за штурвалом его «тройки». Так вот какое окончание у «фильма», начало которого он видел вчера через окно раздачи! Не будь вчерашнего инцидента, может быть, стоять ему сейчас на пороге барака и смотреть, как собирается братва в небо.

Чугунов кричит, приказывает, торопит. Экипажи по-

строил в стороне от машин. Некоторые летчики еще не влезли в комбинезоны. Скороговоркой соблюдает ритуал построения: «Равняйся—смирно—вольно». Излагает боевое задание. Каждую фразу повторяет — порядку речи мешает хаос, бушующий всюду: и здесь, и на фронте, и в головах людей. Повторение помогает собраться с мыслью. Он должен сам пройти по следу собственных слов, чтобы приказ, отданный другими, стал его, Чугунова, приказом. Должен ли он говорить о том, что командование не ожидает их возвращения. Что эскадрилья уже фактически списана с довольствия и что они видят этот аэродром в последний раз. Но нет такой профессии — умирать, все умирают по-своему. В конце концов, его обязанность лишь повторить приказ командования. Дважды повторил: «Задача эскадрильи не исчерпывается разрушением понтонной переправы, главная цель — как можно дольше задержать ее работу. Взлет по достижению готовности».

Вот и всё.

Экипажи стоят с бесцветными лицами. Он мог бы их развлечь любым из тех приемов, которыми подбадривал зеленых курсачей. Но сейчас он не будет этого делать, это было бы тем, что истовые староверы их деревни называли мудреным словом святотатство. Он говорит: если его «тройка» будет выведена из строя, командование эскадрильи переходит к старшему лейтенанту Самоцветову. В случае же выхода из строя Самоцветова его место займет Агапов.

— А если, — кричит Аганесов, — собьют Агапова?

— Эскадрилью поведешь ты, Рустам.

Экипажи назначают преемников дальше. Это уже игра. Летчики обступили и поздравляют последнего командира эскадрильи — Костю Цурикова, самого маленького по росту пилота. Это шутка. Но в воздух теперь пойдут «командиры эскадрильи».

Кабина — духовка. Металл, кожа, резина — все пышет жаром. В новом самолете — как будто надел новую рубашку: весело и осторожничаешь. Теперь его руки, ноги, глаза станут лишь придатками рулевых тяг, штурвала, кнопок, тумблеров, приборов «Петлякова». Штурман сидит у летчика за спиной, они могут при случае дотянуться друг до друга. Место стрелка «на камчатке» — в хвосте за топливным баком. С ним контакт только по ларингофону.

Включает ларингофон: «Штурман, будем знакомиться. Фамилию верно запомнил — Пономарев?» — «Так точно». (Это тот, который пишет летопись полка. Бес их, писателей, знает. Может, уже занес Чугунова в славную историю части: «Сегодня в полку объявился мужчина с конопатым носом...») — «А стрелка, наверно, Колей звать?» — «Откуда, товарищ лейтенант, мое имя знаете?» (Имя угадал, а какой с виду — чернявый или рыжий, не заметил, когда парень нырнул в свой люк.) — «Кто-то, Коля, наверно, на ухо шепнул. Как меня слышно?.. Хорошо?.. Николай, какие экипажи сигналият о готовности к взлету?.. Все! Не может быть! О, оказывается, в эскадрилье собрались одни ассы».

Торжественным кажется летчику старт. Новые самолеты, необстрелянные, горячие парни, и он, Чугунов, если разобраться, только сегодня начинают свою настоящую войну. И черт знает, с какого хода! Подполковник гладко доказывал, что живыми они не нужны. Сейчас в самый аккурат бросить их в пекло — в пыль, в хлам превратить всё, что насобирал Махонин. И кому, как не ему, доверить переться на чертовы рога со всем этим детским садом! Прибавил газ. Рев моторов — сливается с его настроением. Прибавил еще, самолет встрепенулся, нетерпеливо задергался. Отпустил тормоза шасси — «Петляков» пошел, клюя носом. Краем глаза увидел бегущего наперерез служаку Стенина и тотчас забыл о нем. Ско-

рость всегда освобождала его от ненужных мыслей.

Крутой вираж, чтобы лучше почувствовать машину и посмотреть, как взлетят другие. Косо бросились под самолет домики поселка — с сельмагом, водокачкой, полковыми бараками. Весь «тыл» высыпал на улицу смотреть, как улетает эскадрилья...

— Командир, капитана Стенина взяла на борт «пятерка».

Зря Самоцветов взял грех на душу. Старый рыцарь гарнизонной службы станет ненужной жертвой большой драки. Войне не нужны дурацкие подношения. Ей вообще не нужны жертвы. Ей нужны оголтелые бойцы. Ей нужен я, Павел Чугунов. Вот кто ей нужен.

Он не сомневается в том, что не успели они с Самоцветовым покинуть КП, как принятое решение стало обрастать глупыми предположениями и опасениями. И не придумали ничего лучшего, как послать с эскадрильей начальника штаба. И конечно, Махонин тоже порывался возглавить вылет сам. «Стратеги, вы своим недоверием только людей портите!» — вставил Чугунов свою речь в воображаемое совещание.

Теперь Чугунов должен выяснить, берет начальник штаба руководство полета на себя или приказ Махонина остается в силе. В воздухе каша — идет построение. Приближается к «пятерке» и обходит ее. В фонаре видит голову Самоцветова. «Пятерка» пристраивается в правом пеленге, как договорились на земле. Все ясно. Он покачивает крыльями — «внимание, следуйте за мной». Штурвал тянет на себя.

«Пешка» круто набирает высоту. Новые моторы тянут, как молодые кони. Земные мелочи начинают теряться в дымке. Теперь «сливовые косточки» летят крыло в крыло — он вспомнил, как вчера в полутьме столовой выкладывал на клеенке строй эскадрильи косточками из компота.

На высоте небо темнее и глубже. Ни одного облачка. Дневной месяц мчится на севере — единственный свиде-

тель их полета. Две тысячи таких вот бомбардировщиков и новых истребителей — он видел эти новые истребители — и война пошла бы иначе. В глазах — измученная пехота, которая пылит сейчас по дорогам с полной выкладкой под палящим солнцем, — «Шире шаг!.. Шире шаг!..» К фронту под бомбежками рвутся эшелоны. Кажется, всех — и его с эскадрильей — невидимая сила засасывает в гигантскую пробоину — и не нужно сверяться по карте, их притянет туда, где прорван фронт. Эскадрилья — горстка мажорки, которую хотят швырнуть врагу в глаза.

Какой оборот примут события дальше, он вряд ли уже увидит. Впрочем, его всегда интересовало лишь то, что он должен и может сделать сам. Не потому что считал себя непригодным для понимания большой «диалектики», но что толку в пересудах на ее счет. Он знает, что авторитетная мудрость не отличается от авторитетных ошибок.

Почему прямо не сказал экипажам: нам приказано умереть. Не сказал и штабной подполковник, не сказал и Махонин. Без чайной ложечки надежды что-то ломается в головке человечка. Какая разница солдату, если знает, будет убит, пробежав сто шагов вперед и сто шагов назад, от пули врага или от пули трибунала. Он ничего не выбирает. Он умирает, потому что живет в такое время.

До стрелка меньше четырех метров, но через ларингофон голос доносится, как со дна глубокого колодца:

— А Вергасов-то наш отмочил! И что он в Лушке нашел: два уха, два глаза, — заскучал стрелок на «камчатке».

— А командир что на этот счет думает? — это Пономарев.

Не время, не место и не ему такие вопросы задавать. Провел пальцем под носом, порыскал зачем-то по карманам. Увидевший его в этот момент догадался бы: никак Чугун — большой монах! Но летчик разгорячился: Вергасов — дурак, и сказать это можно про всякого, кто делает из какой-нибудь бабенки пуп мироздания. Лично он всегда удивлялся, когда какая-нибудь шустрая пус-

тышка вертела хорошим, толковым мужиком. Другое дело «коты», которые не могут пройти мимо любой юбки. Кроме пустозвонства и разгильдяйства, у них в душе ничего не найдешь — как не мешай кочергой.

Ему повезло. Настя — кастелянша командирского общежития как-то, меняя постельное белье, рассказала, какими уловками женщины увлекают мужчин. А рассказала ему потому, что он — мужчина самостоятельный, о них, женщинах, все знает и никакими хитростями его не обведешь. За это и уважает. Слушая Настю, Чугунов удивлялся, с каким умом, дипломатией, упорством женщины охмуряют мужчин, без которых им не устроить свою судьбу, и стал сочувствовать их маневрам. Когда начался их роман, он чувствовать себя так, будто с Настей они весело кого-то провели. И даже прощался с насмешливой лаской. Обещал писать. Но так и не написал, потому что не знал слов, которые продлили бы эту игру. Нет, ему повезло. Вспоминая прошлое, он не чувствует себя обделенным на пиру жизни.

— Командир, справа внизу немцы.

На других «пешках» также заметили противника — жестикулируют. Четыре чуть видные серебряные черточки идут одним с эскадрильей курсом. Взглянул на показатель скорости.

— Не волнуйтесь, соколы: мы им не «ТБ» и даже не «СБ». Через полторы минуты они растают за нашей кормой, как Балеарские острова. Но на время изменим курс, а то приведем поганцев к переправе на своем хвосте. Штурман, просигналь Самоцветову наш маневр.

Что такое! На «семерке» машут руками! Там требуют держать прежний курс. Неужто рыцарь гарнизонной службы берет руководство полетом на себя! Я не дам вам, сукиным детям, проиграть войну! Чугунов бросает «пешку» вправо, сцепился глазами со Стениным, из кабины высунул руку и показывает кулак.

Он продолжал ругаться и тогда, когда на «семерке» уже сдались: «Мало в мирное время дров наломали, они и в войне хотят свое дело продолжать! Это удумать надо — всех превратить в недоумков. И не скажи, и не рыпнись, молись на дураков... Затюкали вконец... Не покажи, что не пальцем деланный... Любит советская власть дураков...»

Уже оторвалась эскадрилья от «мессеров», уже снова был взят курс на переправу, а Чугунов все сводил счеты с начальством за дурацкие опыты над людьми. За подхалимаж. Не сразу спохватился, что ларингофон не был выключен. «Пономарев, что же вы меня не пнули, мол, прекращай поливать... А верно, слух идет, что у меня х.. характер?

— С чего это вы, командир! — вежливо отозвался штурман.

— Так, для ясности.

— Сказать, товарищ лейтенант? — это включился в разговор стрелок.

— Говори смелее, над переправой будем через пять минут.

— Скажу как на духу.

— Не пугай! — полусерьезно всполошился Чугунов.

Все трое рассмеялись и про вопрос забыли.

Вот чему нас жизнь научила: смеяться, когда приходит **ТОЩАЯ ТЕТЕНЬКА С КОСОЙ**. И за этот урок, дорогая, спасибо.

— А между прочем, лейтенант, у поэта не Балеарские, а Азорские острова.

— Куда меня угораздило попасть — в компанию ученых мужей!.. Начинаем снижение.

Чугунов покачивает крыльями. Начинается перестроение в осевую линию. Стрелок ругается: кто-то там чуть не сшибся с соседом.

Вот и река. Где переправа?

— Штурман, где переправа?.. Ах, вот ты где! — Пыль над дорогой выдает приближение к понтонному мосту.

К западному берегу лес подходит вплотную, восточный берег гол — лишь там, где мост уперся в наш берег, виднеется что-то вроде жиденькой рощицы, к ней и выползает зеленая гусеница немецкой техники.

Для тех, кто в это время продвигался по шаткому понтонному мосту, для тех, кто в длинной колонне, растянувшейся на километры лесной дороги, дышал воздухом, в котором смешивались запахи хвои, дизельные выхлопы грузовиков и тягачей разных марок всей Европы и собственного полупраздного в этот час тела, приближающаяся эскадрилья Чугунова была чем-то вроде небесной пыли, а для дальнозоркого глаза — черточками, то пропадающими в дрожании воздуха горячего дня, то возникающими, как кровавые шарики на радужной оболочке глаза. Для зенитной батареи, развернувшей свои стволы по обе стороны широкой ленивой реки, это были свои «МЕ-110», возвращающиеся после рейда на русские тылы: русские двухмоторные «ПЕ-2», которых они еще не видели, были от них мало отличимы.

В этот полуденный час у каждого образованного, не лишённого честолюбия немецкого офицера был повод проникнуться сознанием своего участия в величественном событии — в переправе через реку, служившую тысячелетие чужому народу священным и последним естественным оборонительным рубежом. Командованию переправа открывала самые заманчивые оперативные возможности. Карта, развернутая в дивизионной штабной машине, позволяла генералу М. их воочию видеть. По радиации он обсуждал со штабом корпуса, какие варианты предпочтительны.

7

Чугунов сбрасывает газ и делает «горку» — самолет почти неподвижно повис в воздухе. Сейчас машина — словно молот, занесенный над переправой. Штурман от вол-

нения закашлялся: пикирование что «цирковой номер». Его начали отрабатывать лишь перед самой войной. Чугунов может по памяти процитировать грозный приказ наркома, начинающийся с фразы: «В последнее время в авиационных частях и военно-летных училищах при отработке сброса бомб с пикирования участились аварии с потерями среди личного состава и серьезным материальным ущербом». Заканчивался приказ обещанием сурово наказывать нарушителей инструкций по пилотированию и технической эксплуатации летной техники. Чугунов, прошедший организованные после наркомовской грозы спецкурсы, курсантов наставлял так: «При входе в пике — не блевать, при выходе — не портить воздух».

Пора! Толкнул штурвал вперед. «Пешка» клюнула носом, а его, как мячик, подбросило вверх. Но ремни держат и тащат за машиной в километровую пропасть. На дне ее — тоненькая веревочка, перетянутая между двумя берегами реки. Скорость растет, голова разбухает под шлемом, режет глаза — будто на пламя газосварки пялишься. Боли нет, но тем отвратительнее: будто кол вошел в пах и проходит все выше вместе отрыжкой столовской вермишели и полупереваренного мяса. В кабине задымил — в воздухе вся пыль, набившаяся в невидимые щели в цехах завода, на аэродромах перегонки... Переправа растет, тело зеленой гусеницы расчленяется на танки, грузовики, бронетранспортеры... На мосту в разные стороны разбегаются фигурки

— Правее ноль-20! Еще правее... — кричит штурман.

— Какое тут прицеливание! — скрипит Чугунов зубами, чуть заметное движение рулей — и тонны металла бросает из стороны в сторону, как ветер бумажку.

— Сброс!

На секунду закрывает глаза. Сейчас две туши бомб летят рядом под крылом самолета. Сопrotивляясь той силе, которая приплющила к креслу, тянет штурвал на себя. Кровь отливает от мозга. Бывает, пилоты теряют созна-

ние, бывает, отваливаются плоскости аппарата. Но если даже его «тройка» развалится на куски, он будет продолжать в пустом воздухе управлять своими руками и ногами, как в живом самолете, — так летит обезглавленный петух, уже не зная куда и зачем.

Понтоны, дорога в лесу, белесая трасса зенитных снарядов над фонарем кабины — все промелькнуло в доли секунд. — Попал Агапов, попал! — слышит стрелка, на попечении которого наблюдение за задней сферой. «Дурак дураком, — бубнит себе Чугунов о диалектике Агапове — но, вишь, пользу приносит». Но где остальные?.. Куда все подевались? Сбили?.. Повернули назад?..»

Чугунов поворачивает голову — штурман поднимает плечи и краснеет. Голосам штурмана и стрелка тесно в наушниках ларингофона. Они говорят о том, что увидели и что о случившемся думают. Кажется, одна машина сбита, остальные, после выхода из пике, сразу развернулись на обратный курс...

С ревом, со скоростью пятьсот километров в час «пешка» летит над лесом, но летчик ничего не слышит, язык увяз во рту, все замерло в нем от короткой простой правды: он потерял эскадрилью.

Ярости Чугунова нет границ. Неужели не поняли, как им повезло: немцы сами себя загнали в ловушку. Нет лучше цели для штурмовки, чем неподвижная колонна. Нет, товарищи командиры сами полезли головой в петлю и потащили за собой других — разбить один-два понтона, цена которым пять рублей в базарный день, — туда, где их противник с нетерпением ждет. Правильно батька говорил: дураков и в церквах бьют. И ничего уже не исправить.

Эта правда сокрушила всё, что он всю жизнь создавал из себя, кем стал и чем гордился. Он брошен своей эскадрильей — почему? зачем?.. Сознание словно пальцы запускает в песок — пытается уцепиться: утро, задача с «одним неизвестным», Махонин, взлет «сливовых косточек»,

Стенин... но песок осыпается... пустота, и он летит в бессмысленный и неодолимый хаос, превращающий огромные армии в пыль, высокие слова — в чушь, приказы — в болтовню. Поражение пришло с совсем другой стороны — темной, зловещей.

— Командир, я хочу сказать... Если останетесь жить, передайте Валентине, что я ее любил. Адрес в чемодане, в блокноте.

Но Чугунов уже ничего не скажет до самого близкого конца.

В последние минуты жизни свою жалость летчик отдал экипажу, последнюю любовь — самолету, его мощной, чуткой силе, красоте и молодости. Он снова приведет его к переправе, но с другой стороны.

Уже видит дорогу. Чужие человечки сейчас получают урок нормальной войны — ужаса, о котором не упоминают уставы, ничего не пишется в газетах, не рассказывается даже в письмах домой и от которого не последние мужики мочатся в штаны.

Дорога кишит движениями. «Пешка» клюет вниз и курсовые пулеметы начинают подметать этот «проспект», убивая штатный состав какой-то механизированной части и коверкая ее механизмы. Каждый, кто бежит от дороги, бежит, спасаясь от лап войны. Солнечный зайчик от дверцы грузовика попадает в глаз Чугунова, пулеметная трасса простегивает бочки в кузове, они подпрыгивают, как живые, и розовый огонь покотился вверх легким мячиком. «Пешка» будто сдирает кожу с зеленой шевелящейся гусеницы.

Почти касаясь деревьев, Чугунов уводит самолет в сторону от реки, над которой — экипаж это увидел — «мессершмитты» добивали *e g o* эскадрилью.

Чугунову удалось уйти от переправы, но все же «тройка» была замечена. «Мессер» снизился и расстрелял по «пешке» свой боезапас. Самолет постарел от пробоин. Стрелок замолчал, штурман, закинув назад голову, сполз с сидения — под ноги Чугунову накатился коврик крови.

Прерванное движение возобновилось бы, если б не мешали разбитые русскими грузовики, если б не пришлось заменить несколько понтонов. Бравый танкист привел танк и, смятая покалеченные машины, оттеснил их от дороги прочь. По освобожденному проходу проехал генерал М. Он остановил свой «оппель» на косогоре, с которого хорошо была видна переправа. Со стороны русских ни одного выстрела. Рядом зенитчики расчищали оружейный дворик от гильз. Настроение у штабных офицеров приподнятое. Тут и там солдаты перекусывали. Многие загорали в густой траве заливного луга, а дальше — у поворота реки — солдаты устроили купанье. Оттуда доносились крики и смех.

Саперы действуют как на учениях — запасные понтоны занимают место поврежденных — и вот они уже бегут к тому берегу, еще раз проверяя укладку и крепление настила. Генералу доложили, что во время налета погибло тридцать семь человек, среди них два младших офицера, и около шестидесяти ранено, некоторые из них просят, чтобы их оставили в строю, — это был самый верный способ получить награду; все русские бомбардировщики, участвующие в налете, уничтожены, через тридцать минут переправа начнет действовать.

Заработали моторы, сизый дым поднялся над лесом. Танки первые начали спуск к реке. Что такое! Новый налет!.. У «ПЕ-2» страшный вид — приближается, чуть не касаясь речной стремнины. Даже с земли видны рваные дыры в крыльях и фюзеляже, листы дюрала отвисают и мотаются под напором воздушного потока. Шасси выпало неровно из клюзов — будто из взрезанной брюшины вывалились внутренности, что-то горит — за машиной вьется лента белого дыма.

Бомбардировщик еще не достиг зоны зенитного огня, но трассы заградительного огня уже переплелись над ре-

кой. Чугунов еще может уклониться — уйти в сторону и протянуть, если повезет, пяток километров, а потом на каком-нибудь поле приземлит машину, в которой нет ни бомб, ни патронов; последние литры горючего летчик сейчас жжет, форсируя обороты еще работающего левого мотора. Уже не прячась, на берег высыпали немцы и каждый палит в него, кто из винтовки, кто из пистолета, кто грозит кулаком...

«Дурак, чего тебе еще надо, уходи, уходи, пока тебе не врезали по первое число! что хочешь доказать бессмысленной смертью! Этим гадам твой катафалк — посмешище. Чугун, я не знал, что ты такой болван, зачем лезешь в пекло, неумное ты существо...»

Летчик крепит на штурвале руки, чтобы не отпустить, когда придет большая боль...

Для немцев это выглядело так: русский бомбардировщик, который на малой высоте казался непомерно большим, медленно, как в сомнамбулическом сне, приближается к понтонам. Было видно, как от огня эрликонов куски обшивки отлетают от него — машина таяла на глазах. Потом стала заваливаться на правое крыло, нырнула вниз и врезалась в километре от переправы в берег...

В 1945 году генерал М., находясь как военный преступник под следствием, по предложению западных оккупационных властей написал воспоминания «Лето 41-го года». Писал книгу по утрам, после прогулки по тюремному дворику и нескольких сотен шагов, отмеренных в камере, он должен был *расходиться* — чтобы его мозг не цепенел при взгляде на чистый лист бумаги, — ходил взад-вперед, пока призраки прошлого не явятся и не заговорят. Тогда садился писать — *докладывать* будущим поколениям, историкам и тем, кто был во время войны по другую сторону фронта, а теперь взявшим на себя ответственность за послевоенное устройство мира, что считает важным зафиксировать, учесть и понять из того, что было им

лично пережито. Воспоминания возвращали ему понимание роли танковой дивизии, которой он командовал, своего места в разыгравшихся событиях и причин допущенных ошибок. Оценки, выводы, предположения, характеристики участников событий, как грим, накладывались на живое, кишашее событиями *время*. Воспоминания не задавали вопросов, они текли вперед рекою и влекли за собой туда, где будут приняты, как он теперь знал, роковые решения. Это знание придавало его повествованию горечь.

В тот день, когда генерал писал главу «Дорога на Смоленск», его память заполнили возбужденные, решительные лица подчиненных. В их кругу он сам себе представлялся молодым и в расцвете своих возможностей. Шагая по тюремному двору, до мелочей вспомнил, как накануне армейской операции попросил срочно соединить его с командующим. Доложил о результате анализа последних разведданных и предложил в план завтрашнего наступления внести коррективы: удар его дивизии переместить правее, что приведет к более широкому охвату русских войск. Идея маневра была подсказана сведениями о том, что, помимо дороги, вдоль которой планировался удар, существовала еще одна, на карте не обозначенная. Инициативный офицер разведки догадался ее проверить, и оказалось, есть хорошо разъезженная заготовщиками древесины дорога. Мотоциклисты без препятствий вышли к реке на семьдесят километров южнее места намечаемого удара. Русские не могли ожидать здесь появления противника. А это значило: им будет уготован грандиозный «мешок».

Предложение привело командующего Б. в хорошее настроение, он сказал М. несколько лестных слов. «О, вы превосходно владеете “стратегией растопыренных пальцев”, умеете схватить противника за горло! Что же касается меня, я, вероятно, слишком полагаюсь на стратегию кулака. Уже не в первый раз вы вносите в мои планы новые заманчивые перспективы. Заверяю вас, я постараюсь, чтобы в историю русского похода это операция вошла под двойным именем — моим и вашим. Однако — спешите...»

До темноты оставалось несколько часов, нельзя было терять даже часа на совещание командиров частей. Уполномоченные штаба, получив директивы, разъехались на их местоположения; батальон разведки, за ним саперы-мостовики выступили немедленно. Бывают предчувствия удачи, такие же заразительные, как предчувствия неудачи. М. верил: бог-случай будет на его стороне. Броневая чешуя дивизии зашевелилась. Низкий гул моторов и лязг гусениц давно стали увертюрой его судьбы. Он вышел из штаба, чтобы увидеть начало операции, которая могла решительно приблизить победоносное окончание всей кампании.

В тот же вечер, он помнил, его матери предоставили возможность переговорить с ним по телефону. Он даже не мог подумать о том, чтобы отложить разговор. Родственники считали, что генерал своей решительностью и напористостью пошел в свою мать, — он признавал это и шутил: «я команду дивизией только потому, что моя мать могла бы командовать танковой армией». Она сказала, что сегодня одна берлинская газета поместила его портрет и хвалебный очерк, но часто слышит разговоры серьезных людей о том, что официальные вести с Восточного фронта преувеличивают наши победы. Он сказал, что успехи немецкой армии действительно весьма и весьма значительны и в скором времени ожидаются еще большие победы. Дух войск выше всякой похвалы.

В момент разговора он чувствовал себя репортером, ведущим передачу с места исторических событий. Родина и его мать, армия и его дивизия, он и его штабная команда — все представлялось М. сплоченным и совершенным во всех своих частях и звеньях. Он отправил себя спать, чтобы встретить новый день со свежими силами, зная, что его не станут будить без особой необходимости.

Обрисовав в начале главы исходную диспозицию немецких и русских частей накануне наступления на Смоленск, генерал М. продолжал: «Я не мог предвидеть всех

последствий выполнения моего плана. Предложив его, я имел в виду лишь внесение коррективы, которая позволит более эффективно использовать наши силы, прежде всего — оперативные возможности моей танковой дивизии. В случае успеха русские, изготовившиеся оборонять рубеж на реке севернее, окажутся в заведомо проигрышном положении...» И далее: «Русские, нужно отдать им должное, они кое-чему уже научились. Они не стали защищать занятые позиции, как делали это прежде, послушно выполняя неизменную директиву политического руководства “Стоять на смерть!” и обрекавшую целые армии на окружение, уничтожение и плен, они начали отход немедленно, как только моя дивизия начала переправу и оказалась у них на открытом фланге. Но это их не спасло — лишь немногие части выскользнули из наших клещей. Дорога на Смоленск была открыта».

Главу генерал М. закончил упоминанием о тех дискуссиях, развернувшихся в ставке сразу после взятия Смоленска и разделивших ее участников на два лагеря. «Мне говорили, что при дискуссии на самом высоком уровне: наступать всеми силами на Москву, как планировалось ранее, или ударить во фланг южной группировки русских армий и свернуть их фронт вплоть до Черного моря, вспоминался мой маневр. Его успех был одним из важных аргументов в пользу второго варианта. В сущности, это была дискуссия о том, какая стратегия — «большого кулака» или «растопыренных пальцев» обещает нам наибольшие стратегические дивиденды. Генерал Б. настаивал на незамедлительном наступлении на Москву, он утверждал, что, воюя с Россией, важен не захват территорий, как в войнах европейских, а выигрыш во времени. Больше всего русские нуждаются в замедлении нашего наступления на столицу, что им позволит сохранить централизованное управления всей страной и, следовательно, подтянуть к Москве резервы и организовать ее оборону.

Я ни прямо, ни косвенно не принимал участие в упомянутых обсуждениях. Но вскоре ощутил изменения в отношениях командующего ко мне: они стали подчеркнуто официальными, как будто я принимал участие в интриге, помешавшей Б. еще до холодов нанести удар по Москве. Как человек, отдавший вермахту всю свою жизнь, могу лишь заметить: в выполнении любого приказа — как того, в разработке которого я принимал непосредственное участие, так и того, который мог мне казаться недостаточно продуманным или даже ошибочным, я прилагал полную меру своего опыта и настойчивости для его успеха».

9

Учитель Фролов с кладовщиком колхоза «Красный пахарь» Яськовым и Витюхой — Витюха парень холостой и инвалидный — глух на одно ухо, вышли из деревни и отправились к реке. Вышли не сразу, после многих гаданий: с чего это поднялась на реке пальба, через которую, они знали, немцы еще ночью ладили переправу. Учитель, который остался в деревне неспроста, имел специальное партийное задание, упрямо нажимал: наши подошли и громят фашистов. Витюха ничего не предполагал, его томило любопытство — посмотреть на этих немцев хотя бы издалека, неужто люди могут быть такими, какими их рисуют на плакатах и в газетах. Яськов не доверял с а м о й натуре учителя за его многоглаголие, как сказал бы дьякон Кирилл, у которого в приходской школе кладовщик освоил грамоту и счет.

По тропинке, протоптанной вдоль берега реки рыбаками, шли, останавливаясь при каждом постороннем звуке. До переправы осталось уже немного, когда увидели в ольшанике перевернутый упавший самолет. Заросли уже выпрямились, покой и тишина создавали впечатление, будто лежал аэроплан здесь вечно, только над моторами

клубился горячий воздух. Витюха прошептал, что в самолете может быть оружие.

Первым увидели стрелка. Он повис вниз головой из люка, белые пальцы касались травы. Потом разглядели штурмана — то, что от него осталось. Не притрагиваясь к машине, ее обошли — и не знали, идти ли дальше или что-то нужно сделать здесь. Яськов покашлял, посмотрел на небо и сказал, что пойдет в деревню за лопатами и лошастью, — летчиков нужно предать земле. И тут же заметили третьего. Фонарь над кабиной был сплюснен, но в глубине ее было видно еще одно тело в черном комбинезоне. В деревню послали Витюху, чему парень был рад, как он мог помогать здесь, если боялся прикоснуться к мертвецам, даже своим.

Первым сняли с самолета стрелка — положили в сторону на траву, затем то, что осталось от штурмана. С третьим было труднее: до него нужно было сперва добраться. Яськов потянул летчика за комбинезон — и сразу отшатнулся: живой!

— Не выдумывай, Степан.

— Живой, я тебе говорю. От покойников потом не пахнет.

С Чугуновым провозились долго, чтобы его достать, ломали и гнули все, что поддавалось. Когда наконец потащили наружу, летчик издал звук.

— Слышишь, — торжественно заметил кладовщик, — стонет! Как живого человека бросить! Хуже грехов не бывает... А он как-никак целый!

Лицо летчика разглядели, когда положили рядом с тем, что осталось от штурмана и стрелком. Глаза пилота были закрыты, лоб, скулы, подбородок — всё поднялось синеватой опухолью. Дышал ртом, в уголках рта шевелилась кровавая пенка. Кровь сочилась и через вспоротый чем-то острым сапог. Когда с конем и телегой вернулся Витюха, было решено: учитель отправится с живым летчиком в Ремнево, а других — Яськов с Витюхой похоронят на деревенском кладбище.

Учитель погнал лошадь в Ремнево, потому что там был сельсовет и стояли части. По дороге несколько раз останавливался, всматривался в словно сведенное судорогой лицо пилота, пытался окликнуть: «Товарищ Чугунов! Товарищ Чугунов!..» — фамилию летчика учитель узнал по документам, найденным в планшетке пилота. Ни звука, ни движения, человек мелко и быстро дышал — значит, еще жив.

В Ремнево Фролов въехал уже при темноте. Через село шли и шли отступающие части. «Не отставай!», «Шире шаг!» — единственные команды, которые сопровождали марш рот, шагающих плотными колоннами. У домов редкие фигуры старух и подростков. Пахло холодной пылью. Фролов понял, что его казалось бы несложная задача — передать раненого летчика военным — неисполнима. На него просто не обращали внимания. Исполнялось какое-то более значительное и не терпящее ни секунды замедления дело. За стеклами редких перегруженных автомашин те же напряженные и отрешенные лица. По краю дороги двинулся вперед. Около дома сельсовета увидел две машины и фигуры командиров. Уже не веря в пользу своего обращения, подступился к человеку с двумя ромбами в петлице, так и не припомнив, какое звание это означает.

— Что вам? — повернулся к нему полковник.

— Летчик... У меня в телеге раненый летчик.

— Какой летчик? — нахмурился командир. — Почему не мобилизованы?

Фролов приблизился к военному, в ухо шепотом проговорил:

— Товарищ командир, никто-никто не должен знать... я оставлен здесь с особым заданием... А летчик... это знаменитый летчик. Его сбили рядом с нашей деревней.

Учитель врал, когда говорил про известность пилота, лежащего у него в телеге. Но, глядя полковнику в глаза, он уже верил, да, подобранный летчик знаменит.

— Знаменитый летчик? Как его фамилия?

— Это же Чугунов!

— А, Чугунов! — полковнику показалось, что о летчике с такой фамилией он уже не раз что-то слышал. Решительно направился к «газику», в кузов которого спешно грузили какие-то ящики, мешки, кипы бумаг. У машины разгорелся спор — машина перегружена, раненого некуда положить, надо дожидаться другой машины. Полковник повторял одно и то же, теряя выдержку:

— Вы что, хотите ЧУГУНОВА оставить фашистам!

И там смирились, сбросили несколько ящиков, выровняли место на кипах бумаг и с помощью красноармейцев устроили раненого.

— А твою упряжку, товарищ, — сказал полковник, — придется реквизировать. В транспортных средствах у нас острая нехватка.

— Я понимаю, понимаю, — закивал головой учитель.

Коня обошел угрюмый боец. Погладил по холке. Подбирая вожжи, спросил:

— Как животное кличут? А, Малыш. Ну, милай, считай, началась у тебя военная строевая служба. Но!

Малыш, кося глазом на учителя, тронул телегу и скоро пропал из вида, заслоненный все так же спешно и плотно шагающими колоннами.

10

Машина была военная, но груз везла смешанный: часть районные архивы, их сопровождали две женщины, часть штабное имущество — за него отвечал сержант. Всю ночь машина обгоняла отходящие войска, а потом пошла места тихие. В машине не знали, где у них примут груз. Но летчику, которого везли и которому ничем помочь не могли, требовался врач, больница, госпиталь. Проезжая населенные пункты, спрашивали, нет ли тут какой-нибудь санитарной части или хотя бы просто врача. Лишь под утро на одноэтажном доме рядом с дорогой прочли вывеску —

«Поселковая больница им. М.И. Калинина». Шофер взбежал на крыльцо и застучал в дверь. Вышла важная фельдшерица, и сразу выяснилось, кто тут главный устроитель и блюститель порядков, что хорошие люди порядков не нарушают, а без порядка — одно безобразие и хулиганство.

К шоферу присоединился сержант, дискуссия стала публичной. В ней принимали участие и женщины, которые, не покидая кузова машины, вели ее прямо с кип бумаг. Вслед за фельдшерицей выпорхнула из больницы легкая старушка, однако принять участие в споре на какой-либо стороне не успевала — сильно удивляясь и тому, что говорили люди из машины, и тому, что заявляла больничная наставница.

— Товарищи, как вы не понимаете, что принять вашего больного мы не можем. Это — сельская больница, сельская! Для военных есть госпиталю, есть военные врачи. Там и комиссии определяют, здоров человек или нет.

— Да умрет он, тетка! Где твой госпиталь! Ему помощь срочная нужна, а ты его соусом кормишь.

Утомившийся нервами за ночь шофер махнул рукой.

— Это же пень. Поедем. Ей-богу, была бы воля — задушил.

— А я и милицию могу вызвать. И письмо командиру вашей части написать.

Но сержант не отступился:

— Не торопи, Михайло, не скандалю. Женщина — человек образованный. Сейчас до ее сознания дойдет. Скажи-ка, женщина тугодумная, за кого наш раненый сокол сражался, за госпиталю или за сельские больницы, за военных врачей или за вас, сельских лекарей, не шибко соображающих? Думай, тетка, думай. Или ты только ждешь, когда фашист сюда явится.

Легкая старушка тут быстро-быстро заговорила:

— И что говорит, и что мелет, что накличет!

Фельдшерица уступила. Пошла к машине, заглянула с колеса на серое, оплывшее лицо Чугунова — и побелела от ответственности, превышающей ее силы:

— Не можем, — отшатнулась она. — Нет у нас хирурга — мобилизовали. Один терапевт.

— Вот видишь, — укоризненно сказал сержант, — что значит человек с образованием. Сразу сообразила, что хирург нужен, а не терапевт. А по мне все доктора одинаковые, был бы белый халат. А везти его, дорогуша, дальше нельзя — угробим сокола. А он летчик известнейший, его вся страна знает. Чугунов! — слышала? — И сам распорядился, чтобы несли носилки.

Из больнички выходили ходячие больные, да и ранние прохожие поселка пристали посмотреть на людей, которые уже вблизи увидели, какая она — война, и хотя бы взглянуть на знаменитого летчика. К полудню в поселке все знали об этом событии. Молва развенчала фельдшерицу — будто бы сам Чугунов сказал, что у нее вместо души пузырь мочи и ничем она не лучше фашиста.

На плиту больничной кухни с незапамятных времен был поставлен бак, пополняемый каждый вечер водой. Теплой водой из того бака старшая сестра с легкой старушкой обмыли лейтенанта. Его волосатое тренированное мускулистое тело пугало их — словно было не той породы, что у местных мужиков. Никто не догадывался: не останись здесь, через полтора десятка километров провезла бы машина Чугунова через его родное село Синьково, где обитала его многочисленная родня и могли бы пересечься с братом Петром пути, если за два дня до этого его не отправили в лес готовить базу для будущего партизанского отряда.

«Да, — сказал врач, осмотрев летчика, — тяжелый случай». Тяжесть случая заключалась в том, что он не знал, что писать в «историю болезни». Предполагал переломы ребер и хуже — позвоночника. Смотрел в окно и думал, что же предпринять, когда сестра с фельдшерицей извлекали из ступни какую-то самолетную деталь, втиснувшуюся в мясо и сухожилия, вместе с куском носка, затем обмыли рану спиртом и, поучая друг друга, забинтовали.

Но что Чугунову до этого мытья, копания в его теле, что до зубов, вытасканных пинцетом из-под расплюснутых губ и звякнувших в эмалированной подставке, что ему до стиснувшей со всех сторон боли, что до нового дня, смотревшего в окно! Будто прячется он в школьном чулане, будто голову между колен укрыл, ноги подобрал — весь сжался вокруг крохотной, еле различимой точки и укрыл ее от всего — всего совершившегося и совершающегося с ним. А зачем укрыл — не знает и не должен знать, ибо как узнает, так произойдет последнее — непредставимое и неизмеренное, необратимое и неисправимое.

Его положили в общую палату — других здесь не было. Надолго в палате затихли разговоры.

...Что-то произошло, если видит Чугунов: не то река играет змеистыми лентами водорослей и с его поплавком, где на мели мелькают серебристыми искрами пескари, не то земли коснулось брюхо самолета — и бежит аппарат — не остановить, бежит — и не разобрать, что там в конце поля... И мешают — закрывают платком глаза, гасят свет. Ведь знают, что так нельзя. «Зажгите свет! Кто там балуется... Разжалуют — и всё... Не всех пускать можно... Он летает не хуже кузнечика... Опять, да!.. Но свет не гаси, не гаси, говорю... Если не я, то кто? Вот так. Теперь хорошо. Правым пеленгом... Чего вы не поете?..»

Медленно катился день. Врач звонил в область — объяснял, что лежит у него в больнице знаменитый летчик, просил принять меры.

Палата покорно внимала бреду ни на кого не похожего человека и непостижимым его словам. С куриным бульончиком подступала легкая старушка — и отступала. Мимо больницы промчалась на машинах какая-то часть, оставив после себя медленно сажающуюся пыль и предчувствие надвигающегося большого несчастья. Перед ужином палата оживилась, будто что-то веселое было в слухе о том, что местная МТС получила распоряжение начать эвакуацию.

По коридору зашлепала раздатчица с подносом, уставленным алюминиевыми мисками с кашей. Курильщики возвращались в палату после своего нетрудного, но уважаемого дела.

— Смотри-ка! — сказал один из них.

Все увидели: летчик поднялся на локтях и осмысленно, с зорким вниманием на всех смотрит. Проглотил слюну, с трудом, но отчетливо произнес, поворачивая голову и обводя всех глазами:

— До свидания, товарищи... До свидания, товарищи... До свидания, товарищи...

БЕДНЫЙ КНОК*

Пауль Кнок, ефрейтор 193-го пехотного полка 18-й дивизии, медицинской комиссией весной 1943 года переведенный из первой категории годности во вторую и с тех пор служивший не в войсках первой линии, а в штабе, где он, помимо других обязанностей, разносил по батальонным командным пунктам ежедневную почту, 17 октября 1943 года был убит. Винтовочная пуля попала ему в ключицу и, скользя выше, перебила *arteria carotis communis*. Врачи считают, что в этом случае смерть наступает мгновенно.

Выстрел был произведен Иваном Петровичем Павловым, до войны работавшим слесарем на канатной фабрике им. 25-го Октября. Он недавно окончил краткосрочные снайперские курсы и вошел в снайперское отделение 316 стрелкового полка.

Фридрих Кох, дежурный пулеметчик, первый заметил тело однополчанина Пауля Кнока. О случившемся доложил командиру роты обер-лейтенанту Шеллингу. «Бедный Кнок!» — проговорил Шеллинг и попросил соединить его с батальонным командиром. Командира батальона около телефона не оказалось, сообщение принял связист, который, не опуская трубки, перезвонил дежурному офицеру штаба полка. «Бедный Кнок!» — сказал дежурный, в обязанности которого, кстати, входило составление отчетов о понесенных потерях, подготовка бумаг, связанных с отчислением из личного состава полка, и отправка вещей и документов родственникам убитого.

* Артиллерийский бой под Колпино 17 октября 1943 г. Отчет по неполным данным.

«Вы уверены, что это русский снайпер?» — спросил он. «Одиночный выстрел», — сказал связист, понимая, что никаких других дополнений в этом случае не требуется. Офицер поблагодарил и доложил о происшедшем майору Ратнеру, управлявшему артиллерийским огнем на участке полка. Ратнер взглянул на схему огня и отдал через Питера Гёте, своего телефониста, приказ трем батареям подготовиться к артиллерийскому налету на квадрат 17-14.

Иван Павлов не был уверен, что его пуля достигла цели. Несколько пулеметных очередей, которые последовали после выстрела, снайпера успокоили: его укрытие фрицы не засекли. Как рекомендовали бывалые снайперы, тотчас «залег на дно», даже не перезарядив винтовку.

Он знал — это было известно всему окопному населению, — что на каждый удачный выстрел снайпера фрицы отвечали карательным огневым налетом. И если налет вскоре последует, значит, выстрелив в серое пятно, мелькнувшее в перекрестье прицела, он не промахнулся.

Павлов перевернулся на спину, расслабил глазные мышцы — так советовали делать в снайперской школе — и стал жевать хлеб, смотря в серое пасмурное небо.

К 9.30 батареи доложили майору Ратнеру о готовности к ведению огня по квадрату 17-14. Командиру полка полковнику Хохдоферу уже доложили, что будет произведен артналет в ответ на активность снайперов. Он отвлекся от книги, которую читал, кивнул и спросил, кто убит. «Ефрейтор Кнок», — получил он ответ. «Бедный Кнок!» — сказал полковник и взглянул на часы.

Рядовой Пахомов слышал выстрел из снайперского окопчика, выдвинутого в сторону противника метров на 25. «Павлов стрелял», — сказал он сержанту Иванову, направлявшемуся пить чай к старшине — своему земляку из Курска. Иванов взглянул в сторону немецких траншей и скрылся за поворотом окопа.

В 9.45 вторая, третья и четвертая батареи произвели первый залп. Из двенадцати выпущенных 88-мм снарядов десять взорвались между окопами, один угодил в бомбовую воронку, оставшуюся с весны прошлого года, — там был устроен ротный сортир, двенадцатый — ударил в бруствер, за которым находился рядовой Пахомов, но не взорвался.

В сортире был убит рядовой Зайцев.

По документам, Зайцев, 1921 года рождения, по образованию инженер-технолог, женат, имеет ребенка, наград и судимостей не имеет.

Через минуту последовал второй залп. Два снаряда разрушили часть окопа второй линии, был прорван провод, связывающий ротные командные пункты, и контужен пулеметчик Семен Александрович Макаров. Он не оставил своего поста и позднее получил от командира батальона благодарность.

Во время третьего залпа было выпущено не двенадцать, а одиннадцать снарядов. Это произошло потому, что на одной из пушек второй батареи заклинило гильзу в камере ствола. Второй и третий номера расчета по указанию командира орудия Вилли Брамса ручным экстрактором гильзу извлекли, и орудие, уже без неполадок, вело огонь до приказа «Зачехлить орудия!»

На следующий день оружейный мастер батареи Шмидт произвел проверку выбрасывающего механизма пушки, но явных дефектов не обнаружил. Он предположил, что порох заряда, по-видимому, отсырел и поэтому откат ствола не был полным. Этим и объясняется, что автоматический выбрасыватель не сработал.

Была произведена проверка запасов батареи: условия хранения и правильность сортировки по срокам их заводского изготовления. Нарушений правил обнаружено не было, о чем командир батареи капитан Валецки доложил по инстанции.

Командир 316-го стрелкового полка Мартынов позвонил на командный пункт комбата Платонова: «Что за шум там у вас?» Платонов сказал, что, скорее всего, немцы производят огневой налет, никаких передвижений противника не замечено. Об огневом налете Мартынов доложил в штаб дивизии сам, так как хотел попутно выяснить, когда в часть прибудет пополнение.

Начальник штаба дивизии Усвятцев, недавно награжденный вторым орденом Красной Звезды, спросил командующего артиллерией подполковника Крулева, находившегося тут же в штабном подвале, известно ли ему месторасположение немецких батарей, ведущих огонь по позициям 316 полка. Крулев ответил: «Да». Но вести огонь по каждому поводу подполковник считал излишним, так как это раскрывает местоположение собственных батарей, на что — на такую тактику — командир дивизии однажды заметил: «Для вас лучшие пушки те, которые не стреляют».

Усвятцев сделал несколько звонков, чтобы выяснить, есть ли необходимость открывать контрбатарейный огонь.

Подполковник Крулев направился ходом сообщения к артиллерийским разведчикам.

Сержант Иванов не успел дойти до своего земляка из Курска. Он был убит, когда до землянки оставалось пройти несколько шагов. Осколок снаряда разрезал его почти надвое. Сержант Иванов подумал, что кровь течет, как река.

Расчеты 2, 3, 4 батарей продолжали вести огонь. После пятнадцати залпов они знали: принято делать фэйер-паузу на полторы-две минуты. Это положительно сказывается на состоянии материальной части орудий, и за эти полторы-две минуты противник может, ожидая вылазки, занять места в своих окопах. Пока они снова будут укрываться в землянках и блиндажах, снаряды нанесут им дополнительные потери.

На целесообразность файер-пауз указывали преподаватели артиллерийских и пехотных училищ всего мира. И теперь, продолжая стрельбу, расчеты орудий поглядывали на командиров батарей.

Снаряд четырнадцатого залпа, выпущенный тем же орудием, у которого произошла задержка с выбрасывателем, попал в дымоход землянки 1-й роты второго батальона 316-го полка. В это время здесь находились рядовые Потапов, до войны человек без определенных занятий, Сидоров Михаил Петрович, закройщик фабрики «Трибуна», кстати, большой любитель хорового пения, Платонов, однофамилец командира батальона, и ефрейтор Овчинников, который считал, что на войне люди погибают только из-за своей дурости. Потапов, Сидоров, Платонов были убиты, Овчинникова невредимым выбросило через дверь землянки.

В 10.00 команда на продолжение огня не последовала. Но на второй батарее раздался запоздалый выстрел: расчет одного орудия не уложился в темп стрельбы. На других батареях, услышав выстрел, улыбнулись.

Подполковника Крулева позвали к телефону, как только он вошел в блиндаж артиллерийской разведки дивизии. Начальник штаба Усвятцев, недавно награжденный вторым орденом Красной Звезды, сообщил, что получено распоряжение на ответный налет по немецким батареям. Крулев сказал, что через пять минут огонь будет открыт.

Старший лейтенант Кандыба, командир отделения артразведчиков, положил перед начартом карту с отметками о предполагаемом расположении немецких батарей. Крулев по телефону продиктовал координаты своему помощнику капитану Воробьеву, тот, в свою очередь, передал их командирам двух батарей 75-мм пушек и батареи 122-мм гаубиц и назначил время первого залпа.

Командир 7-й гаубичной батареи капитан Кутузов заявил, что он может вести огонь только из двух орудий, так как два других в ремонте, о чем он уже докладывал. Капитан Воробьев сказал: «Все у вас не слава богу», — и указал произвести расстрел снарядов из расчета ведения огня всеми четырьмя орудиями.

Командир 2-й роты капитан Малофеев без сопровождения вышел из своего командного пункта и направился в траншею первой линии. Первым он встретил Семена Александровича Макарова, который вследствие контузии потерял слух. Капитан Малофеев решил вынести благодарность рядовому Макарову, который, несмотря на контузию, не покинул свой пост. Затем встретил старшину Парамонова, который вместе с рядовым Пахомовым несли на шинели убитого сержанта Иванова.

Капитан Малофеев в бинокль осмотрел немецкие позиции. Ефрейтор Овчинников в это время ему рассказывал, как в дымоход его землянки попал снаряд. «Дурак», — подумал, но не сказал командир роты.

Как он уже докладывал, в расположении немцев никакого передвижения не наблюдалось.

«Бедный Кнок», — подумал командир пехотного полка 18-й дивизии Хохдорфер, когда после перерыва снова послышалась артиллерийская стрельба. Но тотчас мысленно поправился, ибо выстрелы донеслись с русской стороны.

Снаряды гаубичной батареи, половина орудий которой находились в ремонте, разорвались в расположении транспортной роты саперного батальона 18-й пехотной дивизии. Снарядами были убиты две лошади и разбросана поленница дров.

Координаты, полученные двумя другими батареями, лишь частично совпадали с месторасположением немецких батарей, участвующих в карательном огневом налете:

снаряды 1-й батареи ложились справа, 2-й батареи — с перелетом на 300 метров. Что касается гаубичной батареи, в течение десяти минут ее огонь разгромил транспортную роту саперного батальона, которая оказалась под снарядами случайно.

Были уничтожены: два грузовых «Опеля», склад с горючим и цементом. Ефрейтор Фогель, получивший медаль за храбрость, проявленную при наведении переправы через реку Нарву, пытался вывести свою автомашину из автопарка, но отказался от этой мысли, когда в расположении батальона вновь разорвались снаряды. Командир батальона майор Кныш, член нацистской партии с 1923 года, сообщил в штаб дивизии, что если позволить русским еще полчаса расстреливать его батальон, то от него ничего не останется.

По согласованию с представителем авиации майором Кноррингом, лейтенант Нушке, пилотировавший свой «фокке-вульф» в районе Синявинских болот, получил приказ определить координаты русских орудий, ведущих огонь в районе Колпино. Нушке доложил о получении приказа и изменил курс полета с северо-западного на юго-западный. В районе Колпина облачность была ниже, и нужно было точно рассчитать выход к батареям, чтобы не оказаться раньше времени под прицельным огнем мелкокалиберных автоматических пушек.

Иван Павлов на дне окопчика подпаливал кресалом ватный фитиль и гасил. Бывалые снайперы предупреждали: закуришь — покойником будешь.

В расположении транспортной роты горели машины.

На батареях 75-мм орудий предполагали, что ведут огонь по немецким артпозициям.

Фельфебель Нагель, его ценили за познания истории Рима, собирал в ранец личные вещи убитого ефрейтора Кнока, которые затем будут отправлены семье убитого:

- пачка писем,
- две фотографии с женой и детьми,
- мельхиоровый портсигар,
- роман «Я был с ними» в глассированной обложке,
- Евангелие,
- пластмассовый шарик,
- колода игральных карт.

Ефрейтор Овчинников, чьи все товарищи по землянке были убиты, а он остался невредимым, по приказанию командира роты заменил на посту Семена Александровича Макарова, которому вскоре будет объявлена благодарность за то, что, получив контузию, он не оставил своего поста. Овчинников глупо улыбался и повторял: «Мать ты моя родная, мать ты мой родная!..»

Снарядом гаубичной батареи, у которой половина орудий находилась в ремонте, был убит майор Вилли Фет (до войны он занимался в секции любителей бокса, вес до 70 кг) и ранен его товарищ Отто Майер: проникающее ранение левого легкого. Отто Майер — блондин.

Наблюдатель артиллерийской разведки Лиходеев, по званию сержант, — он находился в заводской трубе, на треть разрушенной, — доложил, что видит в расположении немцев черный дым. Подполковник Крулев, его считали в дивизии интриганом, тотчас доложил об этом командиру штаба и предложил усилить огонь другими батареями с наводкой на дым. Командир дивизии Соколов заметил, что орудия не горят и что перед Крулевым была поставлена задача подавлять огонь вражеских батарей, с решением которой он до сих пор не справляется.

Лейтенант Нушке предупредил наблюдателя — второго члена экипажа, — что сейчас начнет снижение. Облачный слой оказался на уровне 500 метров. Когда «фокке-вульф» проходил облака, снарядом батареи, в которой у одной из пушек не сработал выбрасыватель гильз, был легко ранен капитан Воробьев, вышедший из блиндажа без особой надобности.

Капитан Воробьев скоро вернется в строй, женится на госпитальной медсестре Любе и будет убит в Курляндии через один год и один день.

«Ахтунг, ахтунг!» — начала работать рация «фокке-вульфа».

...Под самолетом простиралась равнина, которая теперь, когда трава пожухла — деревья были уничтожены артиллерийским огнем или пошли на строительство оборонительных рубежей и укрытий, — походила на мелко-масштабную топографическую карту. Каждый бугорок земли и каждая впадина были отмечены сосредоточиями воронок — бомбовых, снарядных, минных, и каждое повышение и понижение местности было артикулировано окопами, ходами сообщений, дзотами, позициями батарей, складами, колючей проволокой и надолбами. Вся эта серая равнина с высоты пятисот метров представляла собой чертеж, назначение линий и точек на котором все менее составляло секрет.

Для Нушке и его коллеги Густава Бергера задача состояла не в том, чтобы разгадать систему обороны русских (она давно была уже известна), но найти на ней две 122-мм гаубицы, местонахождение капитана Кутузова, довольно пожилого, лысого, меланхолического индивида, непьющего, страдающего геморроем, и его подчиненных, ведущих огонь по саперному батальону майора Кныша, члена нацистской партии с 1923 года.

Вот список этих подчиненных:

И.П. Рыбников (не курит),

С.Т. Алишеров (не женат),
Г.М. Чудиков (слесарь),
Р.В. Вохрушев (пишет стихи),
Б.М. Левицкий (еврей),
Ю.Л. Шор (имеет отдельную квартиру в Москве),
Г.Р. Иванов,
Ф.Д. Иванов,
А.В. Мухаметдинов (заряжающий),
К.Н. Николаев,
З.И. Шульман (19 лет).

Лейтенант Нушке и его коллега — радист-пулеметчик — одновременно заметили, как впереди, за прямоугольником бывшего железнодорожного пакгауза, забегали микроскопические фигурки вокруг таких же микроскопических механизмов.

Лейтенант потянул штурвал на себя и сказал: «Густав, ты не знаешь, почему наша маленькая Германия сумела оседлать этого свинячьего гиганта и почему наш могущественный рейх так и не смог еще нокаутировать эту рябую бабу?»

37-мм снаряд разорвался прямо в кабине «фокке-вульфа», когда он уже вошел в облачность. Самолет упал в двенадцати километрах от того пакгауза, за которым стояла зенитная батарея.

Сбитый «фокке-вульф» после запальчивых споров командиров батарей был приписан к боевому счету батареи 85-мм пушек 13-й зенитной дивизии, и сейчас, через сорок лет, в красном уголке этого подразделения мы можем видеть цифру 7 — число сбитых за время войны батареями самолетов противника, в то время как «рама» должна была числиться за дивизионом МЗА войск ПВО.

Это единственное (хотя и косвенное, и неверное) публичное и охраняемое свидетельство о жизни лейтенанта Нушке и фельдфебеля Густава Бергера. В Германии даже такого свидетельства не имеется.

Первой закончила огонь гаубичная батарея, которая полностью израсходовала норму дефицитных 122-мм снарядов. Две другие батареи прекратили огонь, когда стало ясно, что немецкие батареи артналет возмездия прекратили.

Всего с обеих сторон было выпущено 1059 снарядов.

Итоги артиллерийского боя 17 октября 1943 года под Колпино: убито 9 человек —

А.К. Абрамцев, рядовой,
Г. Бергер, фельдфебель,
П.С. Зайцев, рядовой,
И.И. Иванов, сержант,
Р. Кнок, ефрейтор,
В. Фет, майор,
Р. Нушке, лейтенант,
С.П. Потапов, рядовой,
П.М. Сидоров, рядовой.

Русские потеряли на одного человек больше, зато немцам нанесен большой материальный ущерб: убито четыре лошади, приведено в негодность 750 метров колючей проволоки, 17 мешков цемента, уничтожены две автомашины и одна серьезно повреждена. У русских пострадало одно земляное укрытие, которое к ночи было подправлено, и ефрейтор Овчинников занял свой прежний топчан, хотя мог бы выбрать другой.

В пасмурные октябрьские дни смеркается быстро. Но облачность рассеялась и Ивану Павлову пришлось лишний час отлеживаться в окопчике. Когда стемнело, он перебрался в траншею, напугав Пахомова, хотя тот знал, что в это время снайперы возвращаются из засады.

Павлов тихо смеялся. Все после засады возвращаются немного чокнутые.

МАТВЕЙ И ОТТО

1

В октябре бомба, сброшенная с английского «ланкастера», разрушила в Берлине дом на Бурггассе. Под его обломками были погребены две девочки и жена Отто Курца. В связи с этим ему разрешили краткосрочный отпуск — право постоять у руин дома, которые еще неизвестно когда будут разобраны.

Из близких у Отто в столице никого не было. Некому было и написать письмо — два брата, один из которых жил в Гамбурге, а другой где-то в Баварии, он знал, с недоумением прочли бы письменное обращение к ним. Они подумали бы ему что-то нужно. А что ему нужно от них?.. Он вернулся в часть оглушенный тем полупьяным воодушевлением, которое царило на вокзалах, в ресторанах, в воинских поездах ведущей победоносную войну Германии. Этот шум сопровождал его до самой Опочки, где он сошел с поезда в грязь и темноту этого не существующего на больших картах русского городка.

Здесь были у него товарищи, такие же, как он, шоферы. Они устроили ему что-то вроде поминального вечера, на котором пили шнапс и говорили, что *они* за это заплатят. Они *им* за все отомстят. К началу ночи шнапс был выпит. Он вышел на улицу под проливной дождь. Даже пьяным он не решился бы сделать шаг в этой тьме, если бы не карманный фонарик. Он шел серединой пустой улицы и думал:

«Это не струи дождя бегут по моему лицу.

Это бегут мои слезы, до которых никому нет дела: ни людям, ни небу.

Это слезы моих дорогих девочек».

— Я плачу с вами, мои крошки! — произнес солдат вслух, потому что произнесенные слова, казалось, превращали вымысел в действительность.

Старуха была похожа на привидение. Фонарик сперва осветил ноги в опорках, грязную длинную юбку, а потом что-то вогнутое, седое, безразличное. Отто подошел к старухе вплотную, посветил ей в глаза. Она подняла к нему нищее лицо и утерла кончиками головного платка мокрый рот. «Самогон», — произнес Отто слово русских, которое напоминало ему какое-то слово из Библии. «Самогон», — еще раз повторил он, потому что старуха думала слишком медленно. Когда он третий раз повторил «самогон», в глазах старой бабы он заметил интернациональное выражение догадки. Русская, размахивая длинным рукавом фуфайки, направила его к темному, неосвещенному дому.

Пелагея Мартынова перед иконой Божьей Матери поблагодарила Бога за то, что Он не дал ей пропасть от безбожника. Ее муж, бывший конюх райисполкома Урусов, терпеть не мог иносказаний своей бабы и спросил: «Кто это за безбожник такой? Не Колька ли шалопут?» Пелагея объяснила, что спаслась от немецкого военного человека, который ее подкараулил на улице. «На ляд ты ему нужна, баба, — усомнился конюх, — ни военных, ни каких других действий с тобой не проведешь». Пелагея объяснила, что нехристь потребовал самогона. «Ишь ты, — оживился конюх, даже ноги с лежанки спустил. И выговорил своей жене за то, что она на дом Матвея Матвеева показала. — Ты же врагу пособничала. И Матвея подвела. Шлепнут тебя энкеведешники, когда вернутся. И правильно сделают. А тебя предупреждаю: я к этим делам никакого отношения не имею. Вот так».

Матвей Матвеев, до прихода немцев торговавший на базаре в керосиновой лавке, а теперь человек без определенных занятий, пошел среди ночи проверять, кто беспокоит дверь его дома. За порогом он увидел немца — мокрого, грязного, пьяного. Дождь лил по его толстому, сердитому, но незлому лицу. Матвей не препятствовал пьяному войти в свой дом и хотел устроить его спать до

утра на скамье. Но солдат требовал самогон и произносил длинные речи, в которых Матвей различал слова «фюрер» и «дрек».

Немец забавно выглядел в своем нижнем белье, поверх которого была навешана кацавейка из прошлых тряпок, и в опорках Матвея. Обмундирование оккупанта сушилось на печке.

Кто направляет нас, когда наш разум оказался словно в клетке и бьется о ее прутья с ожесточением и без надежды?

Кто встречает нас на этих дорогах тьмы, молчания и одиночества?..

Ольга Захарова была задержана на улице города Опочка своим дядей Осипом Ивановичем. Он встретил ее такими словами: «Я-то думал, где это моя племянница! Небось далеко за Москву дёру дала. А она тут уже. Задание получила — и назад. Пойдем в управу, расскажешь, где была, что делала, какое задание получила...»

Захарова набросилась на родственника с оскорбительными упреками: и иуда, и кобель, и жмот — до голодной смерти свою мать довел. Осип Иванович побагровел, как месяц на закате, запустил свою лапу под мышку племяннице. Есть там валик женского мяса — и стиснул, как между дверьми.

В управе Ольга увидела много знакомых лиц: и бухгалтера райпотребсоюза Коняева, и учителя средней школы, поэта Устрекова, и еще двух-трех типов из бывшего мелкого местного начальства, и среди них — старшего агронома Лукаса. Отец Ольги хорошо знал Валентина Карловича, который не раз бывал у них в доме. Теперь, оказывается, он стал начальником полиции. «Сказалось немецкое прошлое», — подумала комсомолка Захарова.

Сперва решила умереть с высоко поднятой головой. За голенищами ее сапог была спрятана пачка листовок, выданная ей в Калининe перед отправкой через линию

фронта. Сейчас вытащит их и — швырнет листки в физиономии предателей. Но поступила иначе.

— А! — сказала она. — При советской власти вы мужчинами были, не заставляли женщину перед мужиками стоять. Теперь к женщинам можно относиться, как к скотине! Я про своего свояка Осипа Ивановича говорить не буду, он вам известен по судам. Я говорю это вам, Валентин Карлович, и вам, товарищ Устреков, — помню, как вы в нашем клубе стихи читали о любви: «Красивая и легкая в лугах своей мечты...»

Знакомые лица зашевелились. Никто, мол, не запрещает ей сесть на стул — вот и стул ей придвигают. Поэт высоко вздернул голову, Лукас морщился в махорочном дыме своих подчиненных. Дядька попросил, чтобы вопрос племянницы доверили ему. Возьмет ее с собой.

— Не-е-ет, у меня не убежит!..

После управы, по дороге домой, Устреков говорил своему другу Коняеву: «Я живу уже пятнадцать лет в этом ужасном, забытом Богом городишке, где люди, самые интеллигентные, держат свиней, гусей, кур... Это же древний Рим! Это хуже древнего Рима, хотя есть радио. Но я знал и другое! Да, дорогой. Я видел настоящих поэтов, настоящих женщин. Ну кто в этом городе мог произнести: “Красивая и легкая в лугах своей мечты”»? А смелой девушке мои стихи запомнились. И что-то в ней посеяли. А мы, в самом деле, не джентльмены. Я, друг Владимир, засомневался — правильно ли мы делаем, определившись на службу в управу. Наше ли там место? И в такое-то время!

В десять вечера Лукас обязан майору Гарднеру, коменданту города, по телефону докладывать: о действиях, направленных против вермахта, о действиях, направленных против имущества Германии, против достоинства и интересов союзнических кругов населения и служб местной администрации, о настроениях и слухах среди населения

и, собственно, о действиях полиции. Лукас во время доклада чувствует себя как на заседаниях райкома ВКП(б). Его немецкого вполне хватает, чтобы изложить положение дела, но, тем не менее он потеет и волнуется, как если бы могло вдруг выясниться, что он докладывает коменданту точно так, как недавно — главным коммунистам района, а нужно — как-то иначе. Сегодня он добавил к докладу фразу о том, что среди местной интеллигенции растет уважение к Германии и готовность ей служить.

В этом месте комендант его прервал:

— Господин Лукас, я вам скажу со всей откровенностью, как немец немцу. Вы должны изменить свое представление о служебном долге. У нас нет обязанности заботиться о каких-то людях, не имеющих никакого отношения к нашей армии и Германии. У нас нет ни одного аргумента, который бы заставил нас это делать. Но мы обеспечиваем и будем обеспечивать самым необходимым тех людей, которые нам служат и которые могут быть нам полезны. А остальное — это не та проблема, которая может нас волновать. Мы, немцы, сентиментальны, но мы не можем нашему недостатку позволить взять над собой верх в это суровое время. Что касается интеллигентов, то они, вероятно, начинают понимать, что, если они не проявят лояльность нашему отечеству, они будут просто сметены. Я был комендантом города во Франции, не столь жалкого, как Опочка. Ко мне пришли учителя, журналисты, предприниматели уже на следующий день после того, как я повесил на комендатуре флаг Германии. Если некоторые индивиды носятся сами с собой и думают, что их возня что-то может для Германии значить, они ошибаются. Они ничего не значат. Или слишком мало. Спокойной ночи, господин Лукас. Патрулирование ваших людей, надеюсь, будет организовано безупречно.

Осип Иванович привел племянницу допрашивать в свой дом.

— А в сортир, — спросила Оля, — родственник разрешит отлучиться?

В сортире Ольга Захарова вытащила из-за голенища листовки и отправила их в кишашие червями экскременты. Туда же отправила список фамилий парней и девочек, с которыми собиралась в городке встретиться. Она вернулась в комнату, где ее дядька уже подготовил тетрадь и карандаш для ведения допроса. Он положил толстые руки на стол и, упираясь в девушку глазами, задал свой первый вопрос:

— Ты мне должна со всеми подробностями рассказать, день за днем, где ты была и что делала последние три месяца. В деревне что-то тебя не было видно.

— Ты, дядя, меня спрашиваешь, а я прямо засыпаю! — и Захарова натурально зевнула родственнику в лицо.

— Ты у меня не отвертишься. Ты мне все выложишь!

— Выложу, выложу, дорогой дяденька, но не сегодня — утром. В это время я дома давно уже второй сон вижу. О-хо-хо...

По лицу Осипа Ивановича было видно, что какая-то мысль пришла ему в голову. Оля знала, какая мысль пришла ему в голову. Когда ночью он полез к ней в кровать, она двинула ему в лицо локтем. Встала, оделась и вышла из дома. Дорогу освещала луна, из окрестных деревень доносился лай собак. Секретарь подпольного райкома ВЛКСМ улыбалась:

Красивая и легкая в лугах своей мечты,
Твоя тоска сердечная как облачко летит...

2-го декабря капитан Мясоедов получил инструкцию из штаба партизанского движения. Машинописный текст был сильно затерт. Лампа у хозяина избы одна, да и та дошло светит. Мясоедов побегал глазами по бумажкам, потом

по лицам своих подчиненных — комиссара Попкова и лейтенанта Чубая — и объявил:

— Вот что, товарищи, выясняется: «партизанское движение в тылу врага является *всенародным движением...*» Как это надо понимать? А очень просто. Все от мала до велика мобилизуются в партизаны. И чтобы никаких «я не могу», «у меня глаз косой», «меня жинка не пускает...»

Разбор инструкции затянулся до середины ночи. Месяц поднялся и вышел из-за леса. Двое часовых сучают на околице деревни. Не видно сейчас войны. Хозяин дома Рыжов на печи голос въедливого комиссара сквозь сон слышит:

— Вишь, как здесь говорится: «партизанские отряды должны организоваться *в каждом административном районе*». А дальше пишется, что отряды могут действовать на территории «*двух-трех районов*». Непонятно, товарищи, можем ли мы нарушать границу соседнего района, скажем, новоржевского, или мы только у себя орудовать должны? Мы свои базы заложили, а они? Вдруг соседи по нашим начнут шуровать. Неясно, товарищи.

«Пожалели бы свои головы, отцы-командиры, — думает Рыжов, — и керосин тоже. Его же не прибавляется...»

Военный инженер Ганс Вернер слышал, что у шофера Отто погибла в Берлине семья. Далеко не все люди нуждаются в соболезнованиях — это растревляет горе. Почему не позволить человеку переживать свое несчастье так, как он переживать умеет? Вернер считает, что Курц водит машину по русским дорогам лучше других шоферов гарнизона. Его симпатии подкрепляются еще тем, что, когда он с заднего сиденья смотрит на шофера, его каждый раз занимает мысль о своем внешнем сходстве с Отто Курцем; он так же коренаст, головаст, и они оба относятся к «клубу лысых».

Шофера хорошо знает многочисленная тыловая мелочь. («Отто, отвези этот сверток моему земляку в Ост-

ров», «Курц, отправь мое письмо из Пскова, я не хочу посылать его из нашей дыры...») Но он не сошелся ни с кем. Он лучше будет мерзнуть в машине, чем набивать свои уши пухом писарских новостей. Если ожидание начального пассажира затягивалось, он задремывал или вытаскивал Библию. Он отыскивал в Библии то слово, которое напоминало ему русское слово «самогон». Теперь не может произнести одно из этих слов, не вспомнив второе, а заодно — свою юношескую конфирмацию: торжественный голос пастора, солнечные лучи в окне церкви и вопрос, который задал он тогда себе: «Чего бы я хотел больше: чтобы меня все любили или чтобы меня все оставили в покое?..»

А еще Отто изучал армейский немецко-русский разговорник. Первые фразы в разговорнике были такие: «Как тебя зовут?», «Меня зовут Иван», «Прошу показать паспорт», «Пожалуйста, господин офицер».

Немецкие патрульные часто задавали вопросы по справочнику, но Отто ни разу не слушал, чтобы Иван по справочнику ответил: «Пожалуйста, господин офицер».

От немецкой казармы до матвеевского дома пять минут ходьбы. Отто много бы потерял, если бы однажды Матвей сказал ему: «Солдат, что тебе от меня нужно? Не приходи ко мне больше». В доме русского тоска Курца размягчается.

Матвей видит, как Отто входит во двор, как на крыльце обивает снег с сапог. Они улыбаются и кивают друг другу через стекло. Отто говорит по-русски «здравствуй», Матвей отвечает «гутен абенд». Шофер поправляет: «не гутен абенд, а гутен таг», Матвей знает, что говорить нужно «гутен таг», но исправляться не будет. «Я знаю, — говорит Отто, — ты не хочешь говорить по-немецки». В ответ Матвей говорит, что, когда он приедет в Германию, как Отто в Россию, он будет учиться говорить по-немецки.

— Матвей, ты очень хитрый дипломат.

Шофер выкладывает на стол хлеб, маргарин, сахар — это лично для Матвея, а соль, нитки, аспирин, спички — для торговли. Немецкие солдаты дают заказ на вязаные рукавицы и носки. Они не знали, что в России такая холодная зима, они думали, что тридцать-сорок градусов мороза бывает только на Северном полюсе. Некоторых интересуют еще свежие яйца, шпиг, самогон.

У Матвея валится на бок сарай. Все хозяйство на гвоздиках, веревочках, подпорках. Он содержит козу, которая не дает молока, но русский верит, что молоко появится, как только война закончится. Иногда Курц произносит длинные наставительные речи. Матвей их плохо понимает, но соглашается. Курц говорит о том, что важно иметь во всем порядок, фразу «Матвей, ты совсем плохой хозяин» произносит так часто, что Матвей может произнести ее целиком: «Ду бист ганц шлехтер вирт».

Отто радуется, что Матвей научился произносить эту фразу. Поэтому он верит, что со временем Матвей может стать хорошим хозяином.

Отто стал философом. Он понял, что в этом дрековом мире нельзя иметь семью, заботиться о доме и думать о будущем. Даже здоровье нельзя иметь, потому что тебя сразу куда-нибудь мобилизуют, а потом спишут, когда станешь инвалидом или трупом. У власти стоят люди, которым нужно, чтобы все остальные были идиотами, и эти идиоты — его товарищи по службе. Они относятся к службе, как молодые священники. Они хотят, чтобы рейх победил, как будто они сразу станут важными птицами. Но никогда не было так, чтобы солдаты с войны возвращались важными господами.

Берлинский шофер уже знал: на этой войне он относится к числу ее жертв, а не героев.

Утро капитана Мясоедова, где бы он ни просыпался, — в лесной землянке, на крестьянской перине, в стогу сена — начиналось с натужного кашля и прохаркиваний, с изготовления махорочной козьей ножки и ее раскуривания. Несколько местных людей были обременены заданием доставать для него табак. Всюду капитан носил свой запах табака и псины, не искореняемый ни зимой, ни летом, ни хорошей баней, ни чистым бельем. Осмотрев небо, сообразившись с обстоятельствами, он извлекал из кобуры пистолет. Все, кто был с ним в это время, выкатывали посмотреть, как капитан будет стрелять в брошенную в воздух монету.

Капитан попадал.

Такие, как капитан Мясоедов, часто нравятся бабам. Они надеются рядом с ними найти надежную защиту в обмен на свою ласку. Однако в его обхождении с женщинами было что-то чуждаковатое. Как бы ни был пьян и настроен, он всегда требовал, чтобы баба легла «как полагается», расставила ноги и «не слюнявила и не хваталась руками».

Одно время была у капитана постоянная сожительница Маруся Петухова. Она считала, что Мясоедов с нею спит так, как учат спать партийных. Что-то не нравилось капитану в Петуховой. Что? Додумывать все было не с руки, отправил ее с заданием в Струги Красные. Там ее и повязали. Там она и сгнула навсегда в гестапо. Там она заявила на допросе, что скоро всем фашистам придет конец. При этом она думала о товарище Мясоедове.

Отто Курц вез во Псков обер-лейтенанта Габе.

— Вы знаете, — спросил офицер, — что тут, где мы сейчас проезжаем, день назад русские разбили машину? Убили двух солдат и сняли с них сапоги и шинели?

— Они убили их из-за этой одежды? — спросил Курц.

Габе повернулся к шоферу всем телом и прокричал:

— Они убили их за то, что они *немцы!*

Разговор на этом прервался.

На командном совещании в Пскове говорилось, что коммунисты Москвы прилагают все силы для того, чтобы поднять восстание в тылу немецкой армии. И кое-каких результатов они добились. Они восстанавливают органы власти, которые существовали до прихода вермахта, намерены на оккупированной территории проводить продовольственные заготовки и даже проводить подписку на заем, который должен дать им деньги на продолжение войны. И — что вызвало оживление в зале — они берут в обмен на облигации, выпущенные Кремлем, немецкие марки.

Матвей еще пьет чай и отдыхает от ночных сновидений — из-за болей в желудке он плохо спит, — а в дверь уже стучит разный народ: не нужно ли чего-нибудь продать, или купить, или обменять... Матвей сейчас на базаре не стоит, он торговлей управляет. Он пьет чай с сухой макарониной и думает. Потом поручает одному продать одно, а другому — другое. Цены никогда не устанавливает. Взятый товар может исчезнуть навсегда. Матвей не станет его разыскивать. Кто-то Матвея может надуть, а кто-то другого оговорить. Матвей никогда не имеет дела с теми, кто хоть раз его обманул. Не потому, что он мстителен, а потому, что они Матвея запутывают в лишние соображения. Он так и говорит: «Иди, иди, не путайся тут».

Из разговора Отто с Матвеем:

— Матвей, скажи своим друзьям, чтобы они приходили за товаром в определенное время.

— А я знаю, когда нужно приходиться? Кто его знает, когда товар принесут, когда его купят.

— Но почему ты не устанавливаешь цену? Тебя каждый может обмануть.

Матвей долго думал над этим вопросом. В таких случаях Отто говорит: «За это время может вылупиться цыпленок». В следующую встречу Матвей доложил о результате своего размышления:

— Цена у каждой вещи разная. Потому что одному она дешево досталась, а другому дорого. Потому каждый стоит на *своей* цене.

Устроившись в избе около окна, капитан Мясоедов целый день писал письма:

«Запомни, что с этого дня твое имя “Роза”. Тот, кто знает твое имя, может передавать тебе задания и получать от тебя донесения.

“Роза”, попробуй разведать численность фашистских войск в Опочке, их расположение, количество орудий, танков и другого вооружения.

Собирай сведения о воинских колоннах и грузах, проходящих через Опочку, записывая бортовые номера автомашин.

Помни, немецкие письма, газеты, документы представляют для нас большую ценность. Собирай их и передавай нашему связному.

Будь осторожна. Все записи храни в надежном тайнике. Знай, что Родина не забудет тебя.

Желаю успехов. Капитан М.»

Мясоедов написал 17 таких писем. Ему надоело придумывать новые клички: «патрон», «винтовка», «боек», «курок» и пр. были им уже использованы. В 18.00 он выехал на санях с бойцом Кудряшовым и колхозником Захаровым (отцом Ольги Захаровой) в деревню Филистово. Там они крепко надрались бражкой и судили бывшего председателя колхоза «Путь Ильича» Сухорукова — новая власть назначила его старостой. Сухоруков поклялся, что будет выполнять приказы только тов. Мясоедова, о чем была у старосты взята подписка. Староста тоже напился.

Когда Матвей дает козе клок сена и веники, заготовленные в общем-то для бани, он обдумывает три перспективы:

зарезать козу на мясо;

продать ее или обменять на что-нибудь, например полушубок: зима больно морозная;

продержать Зайку до весны, а там она, может, начнет давать молоко.

Когда Матвей думает, он шумно дышит и старается на что-нибудь присесть. Коза ест, трясет бородой и напоминает Матвею кладбищенского батюшку — отца Савелия. Это мешает ему принять решение, и выходит так, как будто он выбрал третью перспективу.

Из разговора Отто с Матвеем:

Отто: «Матвей, ты плохой хозяин. Ты бросаешь помои как попало. У нас хороший хозяин делает компост».

Матвей: «Отто, компост вас не спасет».

Из письма Эммы Гарднер мужу Рихарду Гарднеру, коменданту города Опочка:

«Я думаю, что ты не рассердишься на меня за то, что я, скучая без тебя, хожу в кино так же часто, как вместе мы ходили с тобой».

Майор Гарднер отвечал:

«Я просмотрел из любопытства несколько коммунистических фильмов. Актеры, как правило, имеют вульгарные, часто опухшие физиономии. Герои ходят в грязной одежде, не застегивают пуговиц. Ими руководят люди в гимнастерках и сапогах».

4

ПЕРЕРОЖДЕНИЕ КАПИТАНА МЯСОЕДОВА

(Родом капитан Мясоедов из уральской деревни Вахуши. Его отец — лесник — был убит во время Гражданс-

кой войны. Мать с тремя малыми сыновьями решила переехать на Украину. Сеня Мясоедов отстал от поезда во время налета на поезд банды и до 1924 года был босяком, гопником, вором-домушником. В 1924 году был задержан во время облавы. Навел милицию на «малину» Прохора Косого, завоевал доверие милиции, получил направление в милицейскую школу и начал путь оперативника. Накануне войны вступил в партию, во время чисток органов от врагов народа был выдвинут на руководящую работу. В начале июля 1941 года был назначен командиром спецотряда, имеющего разведывательные задачи.)

Перерождение капитана Мясоедова выразилось в том, что он фактически отстранил комиссара Попкова от руководства спецотрядом.

Из докладной записки комиссара Попкова А.С.:

«Капитан Мясоедов без должной проверки принимает в отряд окруженцев и случайную деревенскую молодежь. В общении с товарищами проявляет самодурство. Его действия также носят произвольный и случайный характер. Участием в пьянках, дебоширством дискредитирует звание командира Красной Армии и звание члена ВКП(б)... Такая пьянка состоялась в деревне Филистово, в доме колхозника Зуева...»

На инженера Вернера русские равнины и леса производили угнетающее впечатление. Для рейха, разумеется, они будут иметь смысл лишь тогда, когда здесь пройдут настоящие дороги, будут вспаханы земли, осушены болота, когда будут пастись тучные стада и зреть высокие хлеба, когда немецкие дети вырастут на этих просторах. Инженер думает о том, что в Опочке он находится три месяца и до сих пор даже не приступил к восстановлению моста — рядового жалкого моста. Целые немецкие поколения уйдут на то, чтобы преобразовать эти дали. Он поделился своими мыслями с майором Гарднером, когда они ехали в «Опеле» в Псков на совещание.

— Вы хотите сказать, господин Вернер, что вопрос о целесообразности нашего похода на большевиков существует?

Вернер улыбнулся, отступая от сказанного. И сказал несколько слов об исторической судьбе и исторических задачах.

К Матвею Матвееву обратилась маленькая Клава (была еще Клава большая, кассирша на железнодорожной станции). Маленькая Клава была послушницей у священника кладбищенской церкви отца Савелия.

— Батюшка слезно просил отозваться: лампы стало нечем заправлять. И до войны было трудно, а сейчас деревянное масло и спрашивать бесполезно. Прослышал батюшка, что неплохо горит машинное масло. Да неизвестно, у кого оно бывает. Матвей, сказал отец Савелий, все достать может. Моли его, без лампадки молитва до Бога не доходит.

Городок говорит только об одном: над Опочкой пролетел советский самолет. Немцы сердятся, что русские так много об этом самолете говорят.

Говорили, будто он десант сбросил.

Говорили, что он бомбу сбросил.

Говорили, что самого Ворошилова Сталин послал посмотреть, что там, куда немцы пришли, делается.

Поэт Устреков по этому поводу сказал: «Какие мы все-таки патриоты! И я среди них. Я горжусь тем, что Россия еще сражается, хотя лично я обязался служить господину Гитлеру».

В новогодние дни у Матвеева собирались немецкие компании. В городке есть ресторан, там радиоприемник настроен на берлинскую волну и заводится патефон, но там развлекаются офицеры и местная администрация. У

Матвеева гуртуются нижние чины. Тыловики — народ в основном солидный, женатый. Тыловику важно, чтобы можно было сбросить китель, походить в шлепанцах, погорланить.

Есть и у Матвеева недостаток: он отказался пускать к себе баб. «Он — друг немцев, — сказал Отто своим камрадам, — но Матвей — не содержатель борделя». Знакомые Курца покивали головами и согласились: яволь, бабы производят несчастье.

По штабным документам Опочецкого гарнизона значится:

Военнослужащих — 243 человека, из них лиц рядового состава — 192 чел., офицеров и унтер-офицеров — 57 чел. Прикомандированных — 17 чел.: из организации ТОДД — 10, из Канцелярии Имперских ресурсов — 7.

Вооружение и техническое обеспечение: винтовок, автоматов — 208 единиц, ручных пулеметов — 21, крупнокалиберных — 3, орудий зенитных — 4, полевых — 4. Два танка типа Рено, автомашин грузовых — 14, 3 — штабных. Радиостанция.

Гебитскомиссар выпустил приказ: «В связи со снежными заносами все местное население обязывается ежедневно выходить на расчистку дорог». Но осиливает зимняя стихия начальственные предписания, богатые угрозами: «арестовать», «конфисковать», «расстрелять»... В деревни, затаившиеся за сугробами, к родичам да к корешам (кореш по этимологии и есть родич) выбираются лесные бойцы: отогреться, отмыться от копоты костров, посидеть по-человечески за столом, вдохнуть воздух живой бабско-детско-печной жизни. Боже ты мой, как скоро скручивались в эти дни судьбы девок и парней! Два-три дня поговорили — и вот уже свадьба.

— Тейфелишес веттер! — сказал обер-лейтенант Габе, получив сообщение, что прервана телефонная связь с городом Остров.

— Да-да, — поддержал метафорическую реплику поэт Устреков, который вот уже неделю служит переводчиком в комендатуре. — Вы, господин Габе, вероятно, слышали о нашем поэте Пушкине? Кстати-кстати! Он из наших мест. Послушайте, послушайте, как звучит по-русски его замечательное стихотворение о здешних выюгах!

Устреков встал на цыпочки и произнес загробным голосом: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя..., — приблизился к шефу и, подняв над его головой растопыренные пальцы, мрачно закончил: — То как звер-р-рь она заво-о-о-ет, то запла-а-а-чет, как ди-тя-а!..»

Майор Габе: «Среди русских редко встречаются нормальные люди».

Матвей чувствовал себя в тот вечер именинником. Двадцать лет часы не ходили — висели для украшения. А сегодня Отто определил причину неисправности механизма. Туда-сюда снует маятник и движением своим и птичьим боем напоминает хозяину избы о его детстве времени, когда в доме жило многоголовое население Матвеевых. Только отец знал, сколько раз нужно повернуть заводной ключ, чтобы не лопнула пружина и часы не останавливались до следующей пятницы. Тогда он снова вставал на табурет и заводил их.

Курц в окно увидел, как во двор вошла молодая женщина. Он сказал: «Камрад, к тебе в гости идет красивая фройляйн».

Матвей в сенях ведет разговор с фройляйн, а Отто думает о том, что нет, не встретить ему женщину, которая хотя бы чем-то напоминала его жену Марту, и уже только поэтому его жизнь невозможно исправить: нет у нее продолжения. У русского друга похожая судьба, но Матвей не догадывается о ее безнадежности. Его суетливая занятость

интересами других людей, которым — Отто видит — до самого Матвея нет никакого дела, — все-таки какое-то решение проблемы. Но это решение для него, Отто, слишком сложное, чтобы он мог с ним согласиться.

Из разговоров Отто с Матвеем:

Отто: «Я родился в городе, в котором родился великий музыкант Бетховен. В твоём городе родились великие русские?»

Матвей: «У нас никто не родился».

— Ты не думай, Матвей, что все немцы плохие. Но мы немного думкопфен. Ты понимаешь?

Матвей закивал головой и, чтобы поддержать разговор, добавил:

— У каждого великого народа и дураков много.

Отто так долго смеялся, что его приятель обиделся.

— О, — воскликнул шофер, — если бы тебя слышали наши фюреры! Они бы сказали: «Этому человеку место там!» — Отто пальцами изобразил тюремную решетку. — У великого народа и руководители должны быть большими дураками, — с удовольствием развил Отто мысль своего товарища.

Матвей:

— Отто, Бетховен вас не спасет.

6

Что может быть хуже для молодого, романтически настроенного офицера, чем служба в тыловой дыре русского фронта, где ты либо на караульной службе, либо валяешься на койке казармы, где все время чертовски холодно, либо дуешь шнапс в ресторане, в котором роты клопов начинают атаковать тебя, как только ты сел на стул, где пластинки с танго и фокстротами безобразно заезжены. Здесь местные женщины одеты, как мужчины, в уродливые ватные куртки, а головы закутаны платками. Только по глазам и губкам можно догадаться: есть фройляйны вполне ничего...

Однако Эрих Герц заметил: стоит взяться за письмо, в котором начинаешь описывать здешнюю службу, как из унылых деталей ежедневного существования начинает вырисовываться что-то примечательное — с приключениями и привкусом чужестранной экзотики. Он стал описывать самого себя и происходящее вокруг немного со стороны, что стало ему доставлять тайное наслаждение.

В то утро он мог бы записать: «Сегодня мы делаем вылазку в район, где коммунистические партизаны устроили себе базу. Наверно, сделать это было нужно раньше, потому что слухов о нападениях партизан так много, что мы находимся в постоянном напряжении».

Можно было бы продолжить так: «Я помню, как в детстве отец меня учил: если боишься темноты, заставь себя войти в темную комнату или заглянуть за шкаф — попытайся найти там то ужасное, которого ты боишься. Так вот, наконец, мы отправимся в “темную комнату”. С нами будут полицейские из местных жителей, воюющие на нашей стороне. Мы будем их поддерживать, потому что партизан они боятся. Не думаю, что в этом районе, где концентрируются партизаны, мы встретим каких-то особых головорезов. Они, скорее всего, не отличаются храбростью от полицейских — лишь более наглые».

Герц продолжил мысленное сочинение письма, когда занял место в кабине «Бюссинга». Инструктаж, проверка экипировки команды, последние согласования с командиром полицейских остались позади. Про «темную комнату» он напишет в письме домой: родителям будет приятно узнать, что он помнит уроки детства. Своему школьному товарищу Георгу он расскажет: когда вся команда была построена перед посадкой в машину, он подумал: история повторяется. Когда-то римские легионеры завоевывали варварские земли, теперь он со своими солдатами делает то же самое. Он напишет: «Я медленно прошел вдоль строя, вглядываясь в спокойные лица моих товарищей по оружию. В моем взводе два парня из Ганновера. Могучие, не совсем безупреч-

ные в дисциплине, они не чувствуют бремени службы и войны. Сила и дружба — вот две вещи, которые воодушевляют их. Да, они — легионеры двадцатого века, новой великой империи. Рядом с низкорослыми, длиннорукими русскими они кажутся ожившими изваяниями. Настанет время, когда великие художники...» Текст стал увлекать Эриха Герца. Лейтенант остановил себя, сожалея, что потом не сможет восстановить нити всех своих мыслей.

Впереди какая-то заминка. Под лунным светом снег становится голубым. На голубом фоне он увидел черные фигурки и остановившихся лошадей с санями — полицаи были посланы вперед на санях. Что-то задержало движение. По дороге навстречу бежит русский, Эрих Герц сейчас сам разберется, в чем там дело. Он и его легионеры в любой момент готовы начать действовать. Герц покинул теплую кабину и пошел навстречу бегущему человеку. Снег, как живой, визжал под подошвами сапог. Он будет зол и холоден. Потом он опишет этот эпизод: адский мороз, голубой снег, трусливых аборигенов... Сейчас он даст команду, и все будет так, как должно быть. Что это ?!..

Когда ночью стреляют в упор, видно длинное белое пламя.

— Какое несчастье для всех нас! — с этими словами инженер Вернер занял заднее сиденье в «опеле»

— Отто, среди погибших у вас, наверное, были приятели?

Нет, у него не было среди них приятелей. Наверно, каждого из погибших он встречал, и не раз, и разговаривал о какой-нибудь чепухе. Каких-то лиц сейчас он больше не встречает — похоже, тех, которые погибли в ту ночь... Нет, он не может сказать, справедливо или несправедливо коменданта гарнизона разжаловали и послали на фронт. Он знает только то, что люди, которые что-то пережили, меняются. Для того и присылают новых людей, чтобы все продолжалось по-прежнему. Он видел солдат, которые

прибыли заменить расстрелянных партизанами в снегах. Они точь-в-точь похожи на тех, кого отправили на вылазку в партизанский район. И новый комендант, и новые солдаты говорят: «Мы им отомстим!» Об этом говорили и до них. Но месть не воскрешает мертвых.

Отто высказывал свои мысли чуть ли не всю дорогу. «Бедный Отто, — подумал инженер, — я и не знал, что он может быть таким многословным». Комендант Гарднер в этой самой машине говорил, что каждый должен заниматься своим делом, свои мысли оставляя при себе. Но как считать Гарднера правым? Если его самого разжаловали. Прав только фюрер, но разве фюрер разжаловал коменданта? Тот, кто высказывает правильные мысли, не всегда справляется со своим делом. Инженер произнес громко, чтобы Отто расслышал его сквозь шум мотора:

— Дорогой Отто, все мы части одной машины, и, чтобы все шло хорошо, каждый из нас должен старательно заниматься своим делом.

Курц покивал, продолжая смотреть на дорогу, и замолчал. Но про себя продолжил: «И партизаны, господин инженер, будут заниматься своим делом, и гестапо будет заниматься своим делом, и англичане будут сбрасывать бомбы на наши дома. Вы, господин инженер, настоящий кретин. Вы еще не поняли, что выход как раз в том, чтобы *не заниматься своим делом*. Я не уважаю вас и парней из Силезии, которые прибыли, чтобы занять место похороненных на Опочецком кладбище. Я не уважаю и себя за то, что вожу господ офицеров, которые стараются выслушаться за счет других дураков».

Из рассказов Ольги Захаровой:

«Однажды встречаю на улице своего дядьку — Осипа. На нем полушубок новый и бурки. На плече винтовка висит. Вид прямо геройский. После того случая, когда мне пришлось этого кобеля двинуть, он меня игнорировал. Идет, будто меня не заметил. А я: “Куда же это вы, дядя,

снарядились?» А он: «Попугать ворон, племянница». А я: «На воронов собрались, не нарвитесь на соколов».

А получилось с ним так: его ранило, глаз лишился. Уполз в кусты. Захоронился и, может быть, так и спасся бы — ведь ночь была. Да голос подал. Наши парни проходили, а он подумал, шаги своих полицаев слышит. Помощи попросил. Выволокли его на дорогу. Я-то там была. Говорю: «Дядька Осип Иванович, ну как, попугал воронов?» Он голос мой узнал: «Чуял я, что змею из своих рук выпустил!» И ругался, и плевался, пока не добились».

Одновременно с прибытием в Опочку нового коменданта в городке разместилось подразделение гестапо, руководитель которого через несколько дней докладывал своему шефу: «После проведенного обследования обстоятельств гибели 21 января с.г. специальной команды гарнизона в районе дер. Кисино я пришел к убеждению, что коммунистические партизаны располагали полной информацией о готовящейся операции. Своим долгом считаю прежде всего установить тех ответственных лиц, которые сознательно или по преступному легкомыслию разглашают планы действий местной комендатуры».

«Роза» — капитану М.

«Дорогой товарищ М. Я счастлива, что вы оказали мне доверие, которое я еще ничем не заслужила. Я не знаю, как считать наших врагов, они все время ходят из казармы в столовую, из столовой по разным местам. Попросите кого-нибудь объяснить мне, что такое “калибр” и как мерить дула пушек. Я записала, как вы просили, номера машин, ездящих по Опочке. Они все время одинаковые. Должна ли я их и дальше переписывать — не знаю. О настроениях местного населения я могла бы много написать, кто что высказывает. Но матерное записывать не буду. Получится, как в песне: “в каждой строчке только точки...”»

С комсомольским приветом “Роза”».

От родителей Эриха Герца пришла телеграмма: они хотели бы похоронить сына в Баварии, где расположено их поместье.

В захолустном российском городке в пасмурный вечер, когда не видно границы между снежной равниной и белесым небом, кажется, нет и границы между былью и небылью, болью и здоровьем, добром и злом, нападает на человека оторопь, ему все едино, какие сообщения бегут по телеграфным проводам, идет ли война или давно стоит за порогом всеобщая смерть.

Отто хотел сказать: «Матвей, в Германии зиме капут, снег — давно капут, в Германии фрюлинг и фогель вьют гнезда». Но Матвей опередил приятеля. Он сказал, что один парень работает шофером в немецкой организации. Он разбил аккумулятор, и теперь его за это могут отправить в лагерь. Не может ли Отто достать для парня эту штуку? И нужно какое-то лекарство, но название он забыл.

Отто думает: «Нет, снег не капут, зима не капут. И очень хорошо, что не капут войне». Потому что, если бы сейчас война закончилась, получилось бы, что только для того она и затевалась, чтобы убить его девочек и тихую Марту.

— Я знаю, — сказал Курц, — для чего тому парню нужен аккумулятор. Партизаны будут слушать московское радио.

Отто встал. Надевая шинель, сказал:

— Завтра повезу в Великие Луки большую шишку. Матвей, вспомни название лекарства.

И ушел.

Дорога сделала поворот, впереди Курц увидел лежащее поперек дороги бревно.

— Партизаны, — не поворачивая головы, сказал он и затормозил.

— Поворачивай назад! Назад! — заорал его пассажир. Пули дырявили кузов. В зеркало Отто увидел выходящих из-за деревьев людей. Оставил руль. Вышел из машины и смотрел на подходивших, похожих на бродяг, людей. На заднем сидении бился и задыхался обер-лейтенант Габе: ему пробило легкие. Отто впервые пришла в голову мысль, что он тоже заслуживает того, чтобы его убили.

Из толпы вышел человек со смуглым маленьким лицом.

Расстегивая кобуру пистолета, он медленно приближался. Дальнейшее походило на фокус: Отто обожгло руку, чуть выше локтя, а фокусник захохотал, широко раскрывая рот. Появилась фройляйн, которую Курц недавно видел в доме Матвея. Она помогла Отто перевязать раненую руку.

— *Это наш немец,* — повторила она несколько раз своим.

Полицаи арестовали дядю Мишу, бывшего конюха райисполкома. Он вызвал подозрение тем, что постоянно болтался на базаре и закупал табак, хотя сам не курит. Конюх не знал, что табак предназначался лично для товарища Мясоедова, — он имел дело только с бывшим продавцом керосинной лавки Матвеем Матвеевым.

Из журнала охранных действий службы гестапо:

«2-го марта на шоссе Опочка—Псков была обстреляна штабная машина опочецкого гарнизона. Обер-лейтенант Габе, находившийся в машине, был тяжело ранен и скончался до прибытия в госпиталь. Шофер был ранен, но сумел самостоятельно вернуться в часть. В ответ на эту акцию в близлежащей деревне Филистово взяты 10 заложников, сожжены два дома, принадлежавшие лицам, подозреваемым в связях с партизанами. В деревне размещено отделение полицаев, в обязанность которых входит патрулирование дороги на этом участке».

Поэт Устреков отметил свой день рождения. Своим присутствием его почтил даже начальник полиции Лукас. На столе были шнапс, водка, самогон. Местная интеллигенция пришла что-нибудь съесть, полицаи — выпить. Устрекову хотелось поговорить о превратностях судьбы поэтов вообще и своей личной в частности. Он прочел стихотворение о девушке из Млечного Пути. Ночью ему приснился унижительный сон: будто обер-лейтенант Кнауунд повторяет одну и ту же фразу: «Филляйт волен зи ин аборт геен?» — шеф сердится, а Устреков никак не может перевести ее на русский.

«Розу» задержали на главной площади городка. Она боялась что-нибудь перепутать и несколько раз прошла вдоль колонны грузовиков, которые везли боеприпасы и продовольствие на базу 16-й армии. В Пскове. В кармане у нее нашли запись номеров машин.

Русские женщины очень стыдливы. У ефрейтора Тагеля даже мысли не было насиловать задержанную: почти у всех русских вши, мало ли что можно подхватить еще. Он должен был просто отобрать у нее полушубок. Шеф установил порядок: в камеры русских помещать без уличной одежды. Холод развязывает языки. Но у девчонки было другое на уме. Она кричала, как обезумевшая, кусалась и продолжала прижимать к телу полушубок даже тогда, когда от него остались одни лохмотья.

Разве нельзя понять Тагеля, который, не желая ничего плохого этой девчонке, в конце концов пришел в ярость и продолжал топтать ее ногами, когда у «Розы» началась агония!

Шофера Курца положили в госпиталь. Врач говорил: «Камрад, тебе повезло, пуля могла задеть кость, и тогда тебе вряд ли удалось бы ускользнуть от партизан».

В госпитале Отто навещал Фриц Вайдт, тоже шофер. Фрица тяготила причастность к жестокой войне. В гарни-

зоне только Курцу он мог доверить свои чувства. В свой второй визит Вайдт сказал: «Отто, ты, кажется, часто бывал у того русского, который для нас кое-что доставал... Гестапо ночью арестовало его. Теперь, наверно, будут допрашивать всех, кто с ним водил знакомство. Говорят, он имел связь с партизанами».

Ночью Отто напился. Он прошел в закуток фельдшера, который тут же спал в халате на кушетке, и забрал из шкафа флакон со спиртом. К утру шофер был сильно пьян. Он разговаривал сам с собой. Говорил в зловещую темноту зимней ночи: «Вы хотите из нас, немцев, сделать идиотов и добились этого. Ты прав, дорогой Матвей, компост нас не спасет, и Бетховен не спасет. Вы хотите превратить в таких же идиотов русских». Отто постучал костяшками пальцев по своей лысой голове и засмеялся. Он смеялся смехом того, злого и веселого русского, который прострелил ему руку. Тому человеку с маленьким лицом был смешон и он — Отто, и умирающий Габе, и они сами, выходящие из леса, в который ушли, как только сделали свое дело.

В смехе не было правды, но неправда была убедительнее страдания, а смех — сильнее страха перед смертью.

Матвея Матвеева взяли поздно вечером, как только его дом покинули трое немецких солдат, кое-что по мелочам обменявших. Их задержали тоже. Зондербандфюрер Кнауфф вел допрос Матвеева, а его помощник Хёффнер — солдат. Солдат, напуганный тем, что они, оказывается, посещали дом глубоко законспирированного кремлевского агента, отпустили утром. Матвея допрашивали всю ночь и весь день.

Поэт Устрекров — он переводил Кнауффу — удивлялся незначительности личности нового задержанного. Гестаповец требовал от его соотечественника назвать всех немецких военнослужащих, которые посещали его дом, и признаться в связях с партизанами. Допрашиваемый никак не мог понять роль переводчика. Не обращая внима-

ния на зондербандфюрера, он пялился на Устрекова, и ответы, развязные по форме, адресовал ему.

— Не «тыкайте» мне, пожалуйста, — несколько раз одернул Устреков Матвеева, — и отвечайте господину Кнауффу.

— Зачем ему-то я буду отвечать? Ведь *ты* задаешь вопросы! Я тебе и говорю. Я никогда партизан и в глаза-то не видел. Ну, а ты, ты тут живешь, по-русски балакаешь, их видел?! То-то.

Кнауффа забавляли эти пререкания. У него был прием: когда допрос заходил в тупик, он спрашивал арестованного, не хочется ли ему сходить в туалет. «Нет, нет, вам обязательно нужно сходить в туалет», — убеждал он тех, кто уже знал, что их «в туалете» ждет. В коридоре двое человек подхватывали арестованного, избивали и возвращали в кабинет Кнауффа. К вечеру Матвеев четыре раза побывал «в туалете». На каждое предложение Кнауфа сходить в сортир Матвеев кивал головой. Устреков думал, что Матвеев кивает из-за своей непроходимой тупости; гестаповцу же казалось, что этот ничтожный русский бросает ему вызов. Но дело было в другом. Когда язва желудка кровоточит, человека постоянно слабит.

Рассказывает Ольга Федоровна Захарова:

«Кажется, был уже апрель. Смотрю, на улице прямо на меня идет немецкий солдат. Тогда только что арестовали дядю Матвея и Катю Малахову — “Розу”. Сердце холоднуло: никак моя очередь настала! Немец знакомый, он меня с мясоедовскими ребятами видел. Что будет — не знаю. Подходит, берет за пальто и быстро говорит “мой пиф-паф конец” и мне старую листовку нашу показывает. На одной стороне агитация: переходите на сторону Красной Армии, на другой — пропуск. Показал на свою руку, помнит, что я ее перевязала. Говорит, завтра днем поедет в город Остров. Пусть встретят его у моста возле деревни Конки. И ушел.

Он-то все обдумал, а мне? Как нашим сообщить, как до них добраться? Вокруг Опочки немцы проволоку натянули, посты расставили. Хорошо, ночь темная была, и на посту стоял один полицейский, который на нас работал. Только днем до Мясоедова добралась, но успела. К деревне подошли, видим, у мостика стоит черная машина “нашего немца”. Когда ему сказали, что машину мы сожжем, он рассердился — ему жаль ее было. А какое ей найдешь применение? И что характерно, забрал с собой все свои инструменты. Передал аккумулятор и лекарства. Сказал: “Матвей просил достать”».

Зондербандфюрер Кнауф энергично продолжал аресты и допросы русских. Он решил снова допросить Матвея Матвеева — были основания считать его важной фигурой в установлении контактов с немецкими военнослужащими и русскими, действующими в пользу партизан. При этом его деятельность была вызывающе смелой. Особенно тесные отношения, Кнауфу удалось узнать, у Матвея установились с рядовым Отто Курцем.

Когда ефрейтор Тагель отворил дверь камеры, в которой содержался Матвеев, она показалась ему пустой. Тело Матвея Матвеева, лежащее в углу на каменном полу, было похоже на кучку тряпья.

Он умер ночью от прободной язвы желудка.

Из рассказов Ольги Захаровой:

«У комиссара Попкова было одно желание — поставить немца к осине. Давал ему нелепые задания, обзывал. Отто терпел. Политрук еще больше зверел из-за того, что наши привыкли к Отто и его уважали.

Мастер на все руки! Часы встали — иди к Отто, починит. В рациях разбирался. Кузнечное дело освоил. Меня долго в отряде не было, а когда пришла, дела у мясоедовцев шли плохо, народу осталось мало, каратели со всех сторон леса обложили. При мне такой разговор капитана состоял-

ся. Политрук: “Хватит с фашистом нянчиться. Пусть *твой* немец автомат берет, вместе с нами против Гитлера воюет, а правильнее — его прикончить... Попадет в руки к немцам, всех нас выдаст. Он теперь все наши базы знает, по всем тропам ходил”. Мясоедов: “А я уважаю его за то, что он стрелять по своим не хочет. У человека совесть есть, понял, немецкая совесть, но совесть. Что ж, выходит, ты к немцам попадешь, станешь по мне стрелять?” — “Я не попаду”. — “Ой ли!”

Мясоедов выгораживал Отто. А ведь знал, что по этому поводу Попков не одну бумагу уже в центр настрочил. А потом прилетел самолет. Мясоедов ласково говорил немцу: “Отто, я тебя в Москву отправлю. Война закончится — в Германию отпустят”. Отто пилотку свою снял, головой качает:

— Лучше меня расстреляйте.

Политрук Попков будто этих слов только и ждал».

Козу Матвея Матвеева увел к себе его родственник.

ICH LIEBE DICH

(Составлено по архивным материалам и по воспоминаниям санинструктора Евсеева Г.Н. и др.)

Секретно
В особый отдел... мотострелковой гвардейской дивизии гв. майору т. Зиганшину

ДОНЕСЕНИЕ

По сообщению командира второго батальона... стрелкового полка капитана Дубровы, а также местных жителей деревни Бугаевка, в районе деревни, а также хуторов Липки и Калашный действует немецкая диверсионно-террористическая группа. По показаниям колхозника Г.П. Кузинова в группу входят немцы, не успевшие отойти во время зимнего отступления, и хоронятся в настоящее время в балках и блиндажах бывшей линии фронта. По другим сведениям (показания колхозника Кунецова), эта группа состоит из местных полицаев, которые боятся явиться с повинной. Сообщают о нападениях на дорогах на военнослужащих, на обозы, а также на местных жителей в отдалении от населенных пунктов.

Командование расположенных здесь подразделений проинформировано о действиях вражеской группы. Выставляются усиленные караулы, ведется наблюдение за местностью, население предупреждено об опасности находиться далеко от гарнизонов. Но что с ними поделаешь — по хозяйственным делам они ездят куда надо и не надо.

Сбор информации продолжаю.

Имею сведения о сожительстве Евдокии Кузьминичны Степчак во время временной оккупации Бугаевки с немецким ефрейтором.

Оперативный уполномоченный ст. лейтенант Бушуев

(Из характеристики на ст. лейтенанта Бушуева.

Бушуев В.К. род. в 1915 году. Сын разнорабочего столярных мастерских. Активно участвовал в разоблачении троцкистско-бухаринского охвостья в сельскохозяйственном техникуме, где был избран секретарем комсомольской организации.

Дисциплинирован, настойчив, требователен к себе, постоянно работает над повышением своего идейного и морального уровня. Участвовал в кружках художественной самодеятельности. Партии Ленина—Сталина предан.)

Секретно

Оперативному уполномоченному ст. лейтенанту Бушуеву

Ст. лейтенант, вы ошибаетесь, если думаете, что ваши задачи ограничиваются собиранием старушечьих слухов и предположений, не получивших вашей личной проверки.

Приказываю оперативно выяснить:

1. Что за вооруженные группы орудуют в расположении вашей воинской части.
2. Какие потери эта группа уже нанесла дислоцированным в вашем районе подразделениям.
3. Какие меры принимаются реально для ее ликвидации.

Меня удивляет ваша индифферентность по факту сожительства гр. Степчак с оккупантами. Складывается впечатление, что вам неизвестно, что эта категория лиц рассматривается как пособники врагу.

О выполнении приказа донести не позднее 3 апреля.

Замечание. В донесении назван некий Кузнецов. Кузнецовых в СССР миллионы. Какой из них распространяет слухи о переходе местных полицаев к методам партизанской войны? В донесениях должны быть полностью указаны имя-отчество или инициалы, а также адреса опрошенных.

Начальник особого отдела гв. майор Зиганшин

(Документы, собранные в личном деле гв. майора Зиганшина М.Н., характеризуют его исключительно с положительной стороны. В рядах НКВД прошел большой путь. Был на оперативно-розыскной работе, участвовал в организации лагерно-исправительной и ссыльно-надзорной служб в районах Крайнего Севера. Умеет находить правильные самостоятельные решения. В отношениях с подчиненными послаблений не допускает. Неоднократно отмечался благодарностями в приказах командования. В свободное от службы время занимается фотографированием. В практической работе использует марксистско-ленинскую теорию.)

Из донесения ст. лейтенанта Бушуева:

...Повторные опросы местных жителей о деятельности диверсионной группы показали, что источниками информации являются в основном военнослужащие, которые дислоцировались в дер. Бугаевка после освобождения ее от оккупации. Какая часть здесь стояла, колхозники не знают, потому что номеров не спрашивают, а фамилий не помнят. Это мне сказал М.М. Купцов (товарищ гв. майор, в донесении я допустил опisku — не Кузнецов, а Купцов М.М. — Михаил Михайлович, прож. по улице Карла Маркса, 7). Купцов показал, что дважды видел немца в степи, к югу от Бугаевки. С тех пор не выходит из деревни, хотя у него там осталась копна сена.

О Степчак Е.Н. (ул. Колхозная, 20), по факту сожительства с неким немецким ефрейтором. В настоящее время Степчак болеет. Санинструктор по моей просьбе освидетельствовал ее и считает, что у нее тиф или воспаление легких — лежит в температуре. Я опросил нескольких жителей деревни Бугаевка о факте сожительства колхозницы с немецким ефрейтором. Привожу выдержки из протоколов:

Колхозница М.С. Кравченко (ул. Колхозная, 12):

«Кто ее знает! Какой-то немец к ней ходил. А что ему нужно было — не ведаю. Может, в стирку белье сдавал, может, менял что-то на что-то».

Колхозница П.И. Савелова (ул. Колхозная, 10):

«У немцев был один большой бабник. Как женщину увидит — молодую, старую — так заговорит по-своему. Как его правильно звать, не знаю. Они нас “иванами” и “марусями” звали, а мы их “фрицами”. А какое ему имя мать-отец дали, ни к чему мне допытываться. Степчак, известно, баба покорная. Может, этот гундосый и осилил ее, — если так говорят. Может быть, теперь ей помощь нужна как пострадавшей...»

— Старший лейтенант, вас срочно вызывают к аппарату.

— Кто вызывает?! Гвардии майор Зиганшин?

— Так точно, товарищ старший лейтенант, — он!

Каким бы срочным ни был вызов, особист не должен трусить по деревне, как мальчишка. Гвардии майор не учитывает, что несущим службу в строевых частях важно поддерживать свой авторитет среди военнослужащих — и рядового, и командного состава. По этому поводу есть специальные авторитетные разъяснения. И гвардии майор, конечно, с ними знаком, но не учитывает (как лучше написать: «гвардии майор не учитывает в значительной мере» или «не считается в нужной мере?»).

В землянке узла связи Бушуев берет телефонную трубку.

— Товарищ старший лейтенант, хочу от вас услышать свежие данные о диверсионно-террористической группе. Можете вы что-нибудь добавить к тем слухам, которые вы собрали?

Голосом гв. майор подражает заслуженному артисту Крючкову, сыгравшему главные роли в кинофильмах «Свинарка и пастух», «Трактористы» и др.

— Товарищ гвардии майор, вчера я послал вам подробное донесение.

— Бушуев, может быть, вы посоветуете, что мне делать с вашими донесениями. От нас требуют ответа: **что сделано** для обнаружения и ликвидации диверсионной группы, а вы продолжаете меня кормить старушечьими слухами самой низкой пробы. Неужели вы не способны организовать правильное прочесывание местности, используя солдат гарнизона и местное население Бугаевки! Это ваши прямые обязанности! От вас требуется только инициатива и решительность. Без этих качеств — не-е-ет — у нас работать нельзя. Несерьезно слышать: «Надо ждать, когда пришлют саперов». А немцы, между прочим, маневрируют на местности без саперов, фактически срывают начало посевной кампании, терроризируют население и, вероятно, готовят удары по нашим коммуникациям и командным пунктам... Я могу понять недооценку положения строевыми командирами, их дело — организация боя, но мы с вами отвечаем за тылы и не имеем права... Или же вы...

— Товарищ гвардии майор... — Бушуев хотел сказать, что есть убедительные свидетельства опасности прочесывания местности до разминирования. (Так, П.П. Осипов, русский, тысяча восемьсот девяностого года рождения, беспартийный, два сына на фронте, взял тачку и, как показала его жена Таисия Тимбаевна — сведения о колхознице у него записаны, — направился в район немецких укреплений, где, как говорят, пропадает много немецкого добра. Вскоре после того, как гражданин Осипов углубился в район немецких укреплений, раздался взрыв. Никто

не решился приблизиться к месту подрыва старика, где труп его находится по настоящее время... Но на х... я буду ему про это доносить, — гвардии майор распекон еще больше устроит. На х... я буду подкладывать дрова в костер!) — Товарищ гвардии майор, я приму дополнительные меры в соответствии с вашими указаниями.

— Какие меры вы предприняли в отношении к Скрипник или продолжаете тянуть резину?

(Не Скрипник, а Степчак Е.Н., но исправь я его — он на мне сто раз выпится.)

— Товарищ гвардии майор, как только подозреваемая будет в состоянии отвечать на вопросы, я проведу дознание по всей форме. В настоящее время я слежу за состоянием ее здоровья.

— Нам не здоровье ее нужно, а факты. Со Скрипник нужно поступить со всей строгостью. Советские люди идут на самые суровые испытания и лишения, а среди них находятся разложившиеся обыватели, для которых ничего святого нет, вроде вашей Скрипник. Население, как правило, единодушно поддерживает суровое осуждение таких вертихвосток...

— Я вас понял, гвардии майор...

— Вы уверены, что ваш санинструктор не врет, — продолжал распекать своего подчиненного Зиганшин. — Может быть, у вашей девки сифилис, которым, не пресечи ее деятельность, она заразит сотни бойцов. Учтите, лейтенант, известно, что фашисты во многих случаях давали специальные задания блядям вести такую работу у нас в тылу. А вы с нею чикаетесь...

Ст. лейтенант Бушуев застал санинструктора Евсева читающим на топчане в сенях книгу «Дым» Тургенева. (Это вместо того, чтобы проверять бойцов на вшивость, наличие санпакетов в вещмешках и санитарное состояние кухонь!)

— Что значит «Дым», сержант? О чем книга?

Евсеев зашевелился, обулся, гимнастерку одернул, вытянулся перед опером, ответ готовит. Между прочим, если у человека нет секретов от руководства, он выкладывается сразу. Неверно ответишь — подправят. На то и существуют политруки, агитаторы, партийцы, офицеры.

— О том книга, что все — дым и не более.

— А зачем тогда книгу человек писал? А вы, сержант, тоже все дымом считаете?

— Нет, я такого мнения не имею.

— У меня к вам разговор, который, учтите, не должен оглашаться. Выйдемте из хаты... Есть такие болезни, — продолжил Бушуев на улице, — как сифилис. Или триппер. Вы, как медицинский работник, можете посмотреть на больного и сказать: у него триппер?

Евсеев заподозрил подвох и стал разглагольствовать. Старший лейтенант Бушуев санинструктора на виляниях не ловил, но, слушая его, проникался к нему презрением. Из речи сержанта выходило, что санинструктор ничего знать не должен, а с «первичной обработкой ран», с «сангигиеной бойца» любой дурак может справиться. Другое дело — ДИАГНОЗЫ. Это — врачи. Их в Москве учат. Санинструкторам неведомо, как болезни овладевают человеком. Есть интересная книга «Кренология», но он только издали видел.

Ст. лейтенант взял след — и заявил, что санинструктор слишком умно доказывает свою глупость и что терпеть этого не будет, добьется его разжалования в рядовые и перевода в пехоту.

Тогда выяснилось, что о венерических болезнях на курсах санинструкторов рассказывалось, более того, в экзаменационных билетах даже был такой вопрос: «Венерические болезни, причины возникновения и методы предупреждения». Евсеев сообщил такую подробность: на тех занятиях, на которых использовались наглядные пособия по этим болезням, девицы не поднимали голов от парт. Одним словом, инструктор, как говорят в таких случаях чекисты, «потек», и можно было переходить к делу.

Евдокия Николаевна Степчак, 1901 года рождения, образование два класса, в колхозе со дня его образования, незамужняя, общественно пассивная, в кулацких организациях не состояла, поставки выполняет исправно, в кампаниях подписки на заем участвует, живет одна. Сейчас при болезни. Ухаживает глухая соседка Уголева.

Дом Степчак на краю деревни. Над крышей хаты ветви раскинул тополь, вдоль хворостяной ограды — вишни. На дворе пусто — ни кур, ни собаки, ни кошки. Только на белой стене прогревают и разминают крылышки зеленые и серые мухи, да воробей бежит под сень сарая от мужских гостей. Евсеев шумит: «Ей, хозяйева, кто в доме есть!»

Сперва сени, потом горница, потом вокруг печи — в закуток, там лежанка за занавеской. Воздух стоит здесь бабий. А вот и Евдокия — квадратное лицо, свалывшиеся волосы, уши какие-то ненормальные. Зрачок шевелится.

— Ну, как, Евдокия Кузьминична, дела? Поправляемся? Или как? — масляным голосом разговаривает инструктор. — Киваешь, значит, лучше стало. Вот и хорошо!

Евдокия Степчак слушает Евсева, а смотрит на Бушуева. Бушуев покашлял, сердясь на устройство мира: такая неказистая баба становится приманкой для мужиков, а враг ничем не брезгует.

— Для твоей пользы, баба, нужно осмотр тебе сделать. Поняла? Твои органы осмотрим, — Евсеев наклонился и потянул одеяло на себя. Жменью Евдокия попыталась одеяло удержать. — Ты чего! — возмутился инструктор, — никогда врачу не показывалась? Вот темень! Осмотр сейчас, поняла? Видишь, врач специально для осмотра пришел. Ну вот, так лучше. Была бы девкой — куда ни шло!

Бушуев сглотнул слюну. Хотя груди с коричневыми сосками имели вид нечистых мешков, а руки и короткие ноги росли из туловища Евдохи толстыми суставами, — все баба. И если не присматриваться и дать воображению волю...

Степчак попыталась подняться.

— Лежи, не мешай! — ссадил ее Евсеев.

— Ты признаки давай! — приказал сиплым голосом лейтенант Бушуев.

— Для этого надо срамные губы освидетельствовать, — прошипел инструктор. — Ноги-то раздвинь. Что тебе говорят!

Евдокия зашевелилась, подняла колени и сжала их. Евсеев попытался заглянуть под колени.

— Темно тут, — выругался он, — ничего не видно.

Бушуев словно с самого начала знал, что у этого Евсеева ничего не получится.

— Вот тебе спички.

— Она сопротивляется! Подержите ее! Ну, держите, мне не раздвинуть ноги-то! А как я буду спичку держать?

Они вдвоем навалились на женщину. Евдокия задвигала руками и ногами. Военнослужащие запутались в большом лоскутном одеяле. «Ты дашь нам, сука, осмотр сделать...», «Никакая ты не больная, кулацкая гадина...». Борьба шла мутная и дурацкая. Выбившись из сил, мужчины отстали — потные, со сбитым набок обмундированием. Евдокия натянула на свое тело откуда-то взявшуюся тряпицу: на грудь, на лоно, как на картине соответствующего содержания, и с удовлетворением замерла.

— Ну, что с признаками? — спросил Бушуев санинструктора на улице.

— Зря я с этим делом связался, — бесстрашно заявил Евсеев.

— Приказ будет — и не то сделаешь! — прошипел старший лейтенант.

— Это верно, — дружелюбно согласился сержант.

Утром в Бугаевку стали прибывать роты других батальонов. Пришел саперный взвод. Над деревней пролетел «кукурузник» — самолет также привлекался к операции по прочесыванию местности. Операция была задумана широко, батальоны других полков дивизии должны были

выслать цепь навстречу цепи, которая будет двигаться со стороны Бугаевки. Безрукий председатель колхоза толпился со своими бабами у кирпичного развала, кое-как прикрытого крышей, — здесь размещалось правление артели. У него был с бабами уговор. Как от немцев очистят местность, так пойдет пахота, — хотя на чем, неизвестно: ни трактора, ни коня ни одного не имелось.

(Члены ВКП(б) сельской ячейки, рекомендовавшие председателя колхоза «Путь к коммунизму» т. Огольцова Ф.И. принять в партию, о нем писали:

Отец Огольцова — Огольцов И.И. с момента организации колхоза был руководителем полеводческой бригады. В своей работе использовал передовую мичуринскую агротехнику.

Огольцов Ф.И. закончил 7 классов, а затем курсы трактористов. Хотел стать летчиком, посещал районные курсы планеристов.

Ушел на войну добровольцем. Имел тяжелые ранения, демобилизован по инвалидности. Награжден медалью «За боевые заслуги».

Отец Огольцова — Огольцов И.И. и его брат — Огольцов Т.И., а также жена Огольцова И.И. — Огольцова О.К. были расстреляны оккупантами как коммунисты.

Огольцов Ф.И. выпивает, несдержан на язык, но при наличии этих недостатков может быть принят в ряды ВКП(б), если даст твердое обещание работать над повышением своего идейно-политического и морального уровня.

Из протокола заседания райкома ВКП(б) от 7 февраля 1943 года по вопросу утверждения решения первичной партийной организации д. Бугаевки о приеме Огольцова Ф.И. в члены ВКП(б).

Секретарь райкома Румянцев:

— Товарищ Огольцов, ты понимаешь всю тяжесть ответственности, которую берут на себя товарищи, реко-

мендующие принять тебя в ряды нашей партии. Ты готов оправдать их доверие?

Огольцов:

— Я уже с выпивками начал бороться. И с языком своим. Нам бы сев провести. Не посеем — конец Бугаевке.

Секретарь райкома:

— Нам подсказки не нужны, товарищ Огольцов. Чем можем, тем колхозу «Путь к коммунизму» поможем.)

От скопления народа, от солнечного денька, от стрекотания «кукурузника», суеты командиров, отвыкших за мирную весну от полевых карт, на которые утром они нанесли полосы для прочесывания, на улицах воцарилось праздничное воодушевление. И вот деревня опустела, солдаты за ее околицей вытянулись цепью, а потом ушли в степное марево, как на подвиг.

Что касается вчерашнего случая с Евдокией, то все жители о нем уже знали, хотя непонятно, как такие вещи узнаются, ибо Бушуев всегда молчал. Евсеев и подумать не мог о том, чтобы кому-нибудь открыться, ибо считал, что они со ст. лейтенантом Бушуевым опозорились. Евдокия же из хаты не выходила и никому не исповедалась. Но тем не менее вся деревня знала, что военнотружашие имели специальное задание — что-то увидеть в том бабьем месте и кому-то доложить. То, что исход дела был неясен, действовало на всех баб плохо, потому что могут начать искать у всех баб — начальство оголтело и упорно. И отдавать все равно придется, хотя пока неизвестно что.

В двух километрах от Бугаевки шла балка, в которой немцы нагородили землянок и блиндажей. Пока пехота перекуривала, саперы с щупами и миноискателями шныряли по балке. Мужики они пожилые, не спешат, но дело движется. Один из них сунулся в землянку, а там в углу что-то зашевелилось. Сапер онемел. Выскочил на свет. Можно гранату кинуть, а потом посмотреть, что там шевелится. Но начальства много. А вдруг свой туда затесался.

— Отделенный, чуешь, кто-то там барахтается.

— Неужто диверсант! Братва, кто-то в землянке засел! — оповестил сержант окрестности.

— Здесь надо пехоту, наше дело мирное.

Пока отделенный ходил за автоматчиками, сапер не выдержал, заговорил:

— Ты кто там, свой или чужой?.. Вылазь своей волей, а то хуже будет... Я тебе хенде хох говорю, понял?.. Выходи, не ломайся. Никуда не уйдешь, нас тут тыща. Граната в трубу — и дело с концом. Ну и дурак ты, скажу я тебе!..

Потом сапер посвистел и позвал, как собаку, — такое ведь могло быть. Спутать человека с собакой в темноте вполне можно. Но только своих товарищей рассмешил.

— Ты бы его «цып-цып» позвал. Или «кис-кис».

Но тут показалась пехота. Все посматривали на некоего Вальку. Парень, сразу видно, отчаянный и злой.

(«Валька» — Валентин Петрович Козырев, 1917 года рождения, родителей не помнит. Воспитывался в Детском доме № 2 г. Ижевска, штамповщик завода «Промчас» им. Ворошилова. Беспартийный. Активно участвовал в работе бригады содействия милиции.)

Валька с грохотом метнул в землянку дырявую канистру, за канистрой в темноту нырнул сам. Пауза, потом слышалось:

— А ну вставай, вонючка! Руки, руки вверх!..

Другие хлынули в подземелье. На нарах лежал фриц в шинели, в сапогах, и даже зимняя шапка держалась у него на голове. Валька взял его за ворот шинели и потащил на свет божий. Здесь стало видно, что немец чуть жив. Пленный с головы до ног оброс грязью — налипшими перьями, сеном, ошметками глины, а может быть, и г... На штанах расползлось мокрое пятно. Но никто не смеялся, ибо умирающего смех уже не унижит.

Саперы и пехота окликнули друг друга и пошли дальше. С пленным остались трое. Среди них был Евсеев. Они поставили пленного на ноги и повели в деревню, подталкивая оружием, потому что отвращение и безразличие к этому немолодому уже врагу было сильнее жалости.

— Пули на гада жалко, — оправдывался один (1913 года рождения, горновой магнитогорской домны, холост). А другой (возчик архангельского леспромхоза, бывший уголовник: «мелкие кражи государственного имущества») вставал перед пленным и проверял: «Ну как, Гитлер капут? Говори: хайльгитлер капут!..»

Немец глотал слюну и качался. Да и видел ли он своих конвоиров?! Да и понимал ли он, где он и что? А может, понимал лучше всех, и это конечное знание сделало его недостижимым для искушений случайных людей со случайными вопросами?

Уже показалась деревня — там начальство, там занятие для них еще какое-нибудь придумают. А тут на горке, на солнце и на ветерочке можно неплохо покурить да перемотать портянки.

Немцу — грозе этих мест — приказали садиться. И тут же сами расположились.

— Так что же выходит: он два месяца здесь по балкам скрывался? — стал рассуждать Евсеев.

— Говорили, что здесь диверсанты осели. Может быть, он не один. А может, бросили его, как негодного, а сами ушли, задания выполняют... Фрицу дать закурить?..

— И так обойдется... Вишь, глазки закрыл. Мечтает.

— Чтобы кладбище получше попало... Санитар, скажи ему что-нибудь.

— А я не шпрехаю. Да и не хочу.

Давно уже борщ у поваров перепрел, когда стали появляться люди из оцепления. В хате у командира батальона Дубровы (личное дело капитана Дубровы Г.В. потеряно во время нахождения его в госпитале. Несмотря на неодно-

кратные запросы, документов ответа не последовало) собрались особы Зиганшин и Бушуев, а также замполит командира полка Коган.

(Из характеристики, хранящейся в личном деле Семёна Семеновича Когана. Род. в г. Бобруйске в семье портного кустаря. В 15 лет начал сотрудничать в городской комсомольской газете, а затем полностью посвятил себя партийной печати. Морально устойчив; в период партийных чисток и борьбы с врагами народа проявлял принципиальность, твердо поддерживал курс партии на коллективизацию всей страны. Коган С.С. отдаёт много сил воспитательной работе, однако допускает определенную мягкотелость — недооценивает воспитательную роль административных воздействий. Постоянно работает с партийной и художественной литературой. Заочно учился на Высших киносценарных курсах.)

Замполит полка майор Коган:

— Главный, товарищи, результат прочесывания — население отныне не будет бояться бродячих фашистов и начнет посевную кампанию вовремя и со всем размахом.

Командир батальона Дуброва:

— А разговоров, ё-моё, сколько! Штабы вырезают, засады на дорогах! Одного дохлого немца на сотню болтунов хватило.

— Но встряска полезна, — сказал майор Зиганшин. — Больно засиделись славяне, будто и войны уже нет. Лейтенант, а вашу вертихвостку, как ее, Скрипник, — надо оформить «за сотрудничество и пособничество».

Бушуев отложил ложку. Сказал, что у него нет запроотоколированных показаний, подтверждающих факт сожительства Степчак Евдокии Кузьминичны с немецким военнослужащим.

— А вы не путаете, старший лейтенант? То вы докладываете о Скрипник, теперь появляется неизвестная доселе Степчак. Что это — еще одна немецкая поблядушка?! —

Зиганшин был доволен тем, что рассмешил замполита и командира батальона.

«Умеет товарищ майор подрывать авторитет своих подчиненных, — подумал Бушуев. — Теперь он будет год отсыпаться на мне за эту дурную бабу».

— А почему бы, старший лейтенант, нам не провести очную ставку этой вертихвостки с захваченным немцем? Не исключена возможность, что именно этот фриц был сожителем вашей лахудры. Почему бы, Бушуев, этому фашистскому е... не отстать от своих, чтобы продолжать встречаться со своей любовницей?! Дайте-ка его солдатскую книжку. Так. Густав Яшке. Год рождения — 1900, — ишь, немолодой бабник! Ну вот, я это и ожидал, наш пленный — ефрейтор. А кто мне присылал донесения, в которых значился некий ефрейтор, который не давал проходу ни одной юбке в деревне!.. Что тут еще? Пехотинец, группа крови — вторая... И так все ясно. Готовьте очную ставку, Бушуев.

Старший уполномоченный покинул штаб батальона в мрачном настроении и не только потому, что майор Зиганшин не поддерживает авторитет своих подчиненных, — он должен снова искать этого мерзкого санинструктора.

На улице бойцы ходили, задрав головы, и гадали, чей самолет забрался на такую высоту, что ни знаков не видно, ни шума не слышно.

Евсеева Бушуев нашел в той же хате, на том же топчане. Читал он тот же роман «Дым». Бушуев с удовлетворением отметил, что Евсеев его так испугался, что стал путаться в словах. Приказал инструктору взять любого солдата и оперативно доставить Степчак Евдокию Кузьминичну к правлению колхоза, где содержится пленный фашист. Потом уполномоченный заявился в штаб, чтобы спросить, кто будет во время очной ставки служить переводчиком. Замполит Коган сказал, что он немецкий знает, на что и Дуброва, и Зиганшин подумали про себя одинаково: не немецкий ты знаешь, а свой еврейский. И послали за

Валькой, который не столько шпрехать умеет, сколько с немцами обращаться, — они от одного его вида паникуют.

Солдаты еще задирали головы к небу.

Бушуев в правлении колхоза подготавливал проведение очной ставки: стол, стул, чернильница. Проведение очной ставки требует хорошей подготовки. Требуется, как учили на курсах уполномоченных, хорошее знание психологии, сообразительность, умелое использование как материалов предварительного следствия, так и оговорок опрашиваемых.

Однорукий председатель — вид у него подвыпившего, но месяц уже не пьет, держится — материл телегу, которую никак не мог выкатить из сарая.

И вдруг: Ба-бах! На всю округу и галдеж во всему селу:

— Бомбит, сволочь!

— В укрытие!

На крыльцо штабной хаты вышли командиры. Распространилось: это саперы в поле снятые мины рванули. «Как в таких условиях работать!» — сетование вползло в духовный мир Бушуева.

Замполит Коган был прав, когда заявил: главный итог прочесывания местности — психологический, теперь население не будет бояться ходить в поле. Но не будь этого пленного, операция выглядела бы дурацкой — подняли тысячу человек, оторвало ноги двум мальчикам на минах, а все впустую, «не война, — сказал бы генерал, — а пердёж». Наличие же пленного подтверждало: операция была необходимой, ибо нельзя оставлять в своем тылу ни одного вражеского солдата.

Группа во главе с Коганом стояла и смотрела на бабу, на санинструктора Евсева, который поощрял передвижение больной Степчак разговором о крайней нужде в ней большого начальства.

Зиганшин ожидал увидеть лупоглазую хохлушку, которая станет от всего отказываться, бурно лить слезы и частить тех, кто, по ее мнению, мог дать о ней порочащие

сведения. Теперь он с гадливостью стал думать о немце, который спал с этой большеголовой, широкоскулой теткой, с какими-то буграми на пожилom сером, измятом лице. В ватнике с отвислыми карманами и в бурках, сползающих с ее коротких толстых ног.

Из-за оконных занавесок хат выглядывало женское население, возбужденное неведомыми причинами решительного внимания пришлых начальственных мужиков к смирной Евдоше. Похоже, один председатель, глядя Степчак вслед — бабе колхозу полезной и безотказной, отзывчивой на просьбы и похваливания, постигал причины происходящего и криво улыбался под ломаным козырьком своей кепки.

Ее пустили вперед, подтолкнули к ступенькам правления.

В правлении, продуваемом всеми ветрами через высаженные окна, на ворохе измельченной мышами соломы лежал изловленный в степи немец. Его длинное членистое тело зашевелилось в ответ на появление людей, и было видно, как мало в его теле сил, чтобы продемонстрировать им свою лояльность. Он что-то каркнул на своем языке — как бы не решаясь их ни о чем спросить, — лишь с задачей оповещения, что он — тут, что его сознание еще не угасло.

(Добавление к сведениям о Густаве Яшке. Блондин, австриец, бывший социал-демократ, фрезеровщик завода в Линце. Взят в плен в районе Котельниково при попытке группы фельдмаршала Манштейна деблокировать 6-ю армию, попавшую в Сталинградский котел. В ночную метель из-под охраны бежал, в одиночку пробирался на запад. По-русски знал слова «свинья», «млеко», «карашо» и «давай-давай». За месяц одичал, оголодал, заболел. В степи застрелил двух украинских подростков, в котомках у которых нашел сало и хлеб. Затем несколько дней кормился лошадьё, убитой вместе с русским казачьим офицером. Это дало ему возможность выжить.

Наступил день, когда на западе увидел вспышки фронта. Яшке заплакал и стал молиться этому мерцанию. Через несколько суток он дошел до окопов, в которых недавно держали оборону немецкие части. Лил непрекращающийся весенний дождь. Русские пожилые солдаты трофейной и похоронной команд, словно бестелесные духи, руководимые потусторонними приказами, слонялись по завоеванной земле — собирали в ямы убитых, в кучи — оружие и боеприпасы. Затем исчезли.

Яшке проник в разбитый продовольственный склад и заселил землянку, в которой недавно обитали Вилли Мори, Конрад Доппель и какие-то другие его соотечественники, не оставившие после себя персонифицированного хлама.

Тишина и усталость навалились на Яшке и придавили к нарам. Часто ночами просыпался от своих собственных стонов. Ласковый шорох дождевых капель снова надолго усыплял его. Он привык к мысли, что его прошлое, в котором он встречался со служащей почты Мартой Вернер, любил посмеяться и попеть, теперь не имеет никакого отношения к его жизни. Русские пожилые команды словно собрали и похоронили дни его прошлого в черной степи.)

Евдокию поставили перед Яшке. За ее спиной мужчины в галифе не сразу согласовали, какой вопрос нужно поставить бабе первым. Верно ли сразу спрашивать, сожительствовала она с этим фрицем или нет? Правильнее начать допрос издали: знакомы ли подозреваемые, как часто встречались, а если да, то с какими целями и на какой — добровольной, корыстной или принудительной — основе?

Конечно, и это неправильно, угрюмо подумал Бушуев. Где те свидетели, которые должны подтвердить правильные показания и опровергнуть ложные? Но все присутствующие на очной ставке, включая санинструктора Евсеева и разведчика Вальку, который презирал начальство, как тыловую породу, и одновременно был готов выпол-

нить любой его приказ, и, вне всякого сомнения, замполит Коган, и профессионал Зиганшин верили, что не дадут колхознице скрыть правду, ибо слишком велика была их власть над нею.

Евдоха вперилась в лежащее перед нею на соломе обмундированное тело.

— Гражданка Скрипчак, — с ехидцей и, похоже, на этот раз намеренно искажая фамилию женщины, начал Зиганшин, — вы видели когда-нибудь этого солдата... Присмотритесь получше... Видик у него раньше был, конечно, повеселее... Узнаете?... Нет?..

Бушуев несколько раз обмакнул перо в чернильницу, изготовившись вести протокол допроса. Капитан Дуброва, у которого главная присказка была такой: «Я за триста гавриков отвечаю», — не включал ни лежащего на соломе фрица, ни эту тетку в ватнике в число своих гавриков и потому пребывал в равнодушном созерцании действия, подлежащего исполнению контрразведкой. Другое дело Евсеев, он ушел бы и продолжил чтение романа «Дым» до ужина, но боялся, что может рассердить ст. лейтенанта, наверно неспроста привязывающегося к нему. Валька, стоящий позади всех, от нечего делать рассматривал и сравнивал шеи присутствующих: у Дубровы короткая, складчатая, с поросычьей порослью волосиков, у Зиганшина — жилистая, по-городскому подбритая, у замполита — хилая, под кожу старого портфеля. Остальные его не интересовали, как мало интересовал немец, которого он видел в просвете между бабой и командиром батальона.

— Ну так что, гражданка Скрипник, что вы нам скажете... Признаете или не признаете пленного фашиста. Не бойтесь. Теперь его бояться нечего. Подойдите ближе, — организовывал очную ставку Зиганшин.

Евдоша переступила своими бурками по грязному полу. Теперь она стояла совсем рядом с пленным. Голубые глазки Яшке тлели отраженным светом дня.

Если перевести вопрос замполита Когана пленному на русский язык дословно, он прозвучал бы так:

— Немецкие солдаты, ты любишь эту девушку?.. Ответь!..

Пленный зашевелился. Пытался высвободить из-под себя руку. Но от намерения отступил.

Майор Зиганшин шелкнул языком от удовольствия, победоносно оглядывая стоящих офицеров:

— Узнает свою кралю, — зашептал им. — Раньше бы все перышки свои расправил.

Положительный комбат потребовал, чтобы Коган задал немцу вопрос, сожительствовал ли он с этой бабой или нет. И Коган спросил бы, но он не знал, как сказать по-немецки «сожительствовать». Обозначился тупик.

— Ладно, пусть Скрипчак отвечает, любит ли она этого гада, — согласился Зиганшин. — Евдокия Скрипчак, к вам вопрос, — заранее развеселился майор. — Вы любите мужчину, которого мы вам показываем?

Женщина не слушала. Горячими от температуры пальцами она поправила съехавшую на бок шапку пленного, смахнула кишевших в его бровях серых вшей. Она заметила, что немец пробует снова освободить свою руку — и помогла ему в этом.

— Жалеешь, значит? — наклонившись к ней, в ухо сказал Зиганшин прочувствованным голосом.

Евдоша закивала, прикрыв глаза концами головного платка.

Кто остолбенел от такого признания, кто был доволен, что несурзное дело, кажется, подошло к концу. Комбат Дуброва отправился по своим делам — к гаврикам, Валька повел Степчак к колхозному амбару, приспособленному для содержания изолируемых лиц. Один Бушуев пребывал в высшей точке недовольства:

— Что в протокол писать! Что я должен зафиксировать! Что Яшке говорил, что Степчак говорила?.. Немец не признал своих отношений с колхозницей Степчак.

— Как это пленный *не выразил* своего отношения к Степчак! — закричал гвардии майор Зиганшин, испепеляя взглядом своего подчиненного. — Все слышали, а он не слышал? Пишите: «На вопрос об его отношении к Е.К. Степчак военнопленный ефрейтор Г. Яшке заявил: «ИХ ЛИБЕ ДИХ»! Что тут неясного!

— А Степчак? Что она ответила оккупанту?

Из окон правления колхоза далеко разнеслось:

— И она ему заявила: ИХ ЛИБЕ ДИХ!..

ВЕРНИТЕ АИСТУ ПЕРЬЯ

Муж земледелец кривым размягчающий землю оралом
Дротики в почве найдет, изъязвленные ржою шершавой!
Тяжкой мотыгой своей наткнется на шлемы пустые...

Вергилий

Тела на нарах распластались. Душно. За проволочной оплеткой бдительно светят яркие дежурные лампы. Что лучше услышать: как плачет или же как смеется во сне человек?.. Упаси Господь вдумываться в эти вопросы — еще немного и заплачешь сам, еще немного — и можешь сам засмеяться и поплыть на легкой лодке безумия. Рухин не спит, стонет, понимает — долго ему не продержаться.

С каждым днем труднее выдержать смену. «Они говорят, что *ich bin der schlechste Arbeiter*. Они очень экономны: ненужным и жить не нужно. Ненужным, считают они, следует самим это понять. Ведь законы экономии так разумны! Утром они объявляют: такой-то — такой-то остаются в бараке. Одни пойдут на работу, ненужные — в корпус “зет”. Завтра они могут выкрикнуть мою фамилию».

По сравнению с другими остарбайтерами близорукий юноша находился в неравном положении. Когда составы с сахарной свеклой приходили и их распределяли по линии транспортера, Рухин был единственным, для кого минутная передышка была опасной. Он не мог, как остальные, опереться на лопату и дождаться, когда сердце восстановит ритм, а рукам вернется сила. Юноша не различал предметы далее двадцати шагов и, подобно другим, не мог, выждав, когда охранники от тебя отвернуться, скрыть самовольную передышку.

Рухина уже дважды лишали хлеба и, хотя не сильно, побили. Надзиратели стали для него карающей субстанцией, наносящей безжалостные удары из слепой дали.

Под сонные плачи и крики он принуждал себя думать о неумолимых законах жизни.

«Я знаю, знаю, я не тот, кто старается успешно выполнять приказы. Я никогда не стану хлеборезом, старостой барака, бригадиром... Может быть, потому, что те особые фуфайки, ремни и сигареты, которые получают отличившиеся в работе, не кажутся мне вознаграждениями, которыми я бы мог гордиться.

Я бы мог, все знают, получить место переводчика. Но я не способен переводить речи охраны, как требуется. Я понимаю того фельдфебеля, который хохотал на весь плац, когда я стал переводить его команды: «Stillgestanden!», «Schneller, russische schweine!» Я перевел правильно. Но он сказал, что такой переводчик ему не нужен. Побагровев, он проревел свои команды, нагнав, для собственного удовольствия, страх на построенных работяг. Мне никогда не научиться переводить нечеловеческий рев на человеческий язык.

Я знаю, — соглашался Рухин, — в сравнении с другими я нелеп и смешон. И я знаю, что вскоре со мной произойдет...»

Произойдет же то, что видел Рухин уже не раз, — усталые, ослабевшие соотечественники сперва подвергались побоям бригадиров и охранников, потом им сокращали питание — исключительно для возбуждения усердия, потом наступало время, когда они понимали: еще несколько дней — и будут отправлены на объект «зет», где из их ненужных жизней несколько врачей попытаются сделать что-то полезное для науки. Обреченные или начинали философствовать, или ожесточались. Они, как библейские заговорщики, произносили проклятия, жалобы и пророчества.

Это предсмертное возрождение жертв входило в жизнь барачников точно так же, как строгость бригадиров, старост и охранников.

Рухин вспомнил Олега Михайловича, и так живо, как будто видел своего Учителя сидящим за чайным столиком

напротив себя: дымящая трубка слева, серебряная стопка с коньяком справа. Олег Михайлович смачивал вином язык, приводя нижнюю часть лица во вращательное движение, и говорил: «Вы спорите, дорогой юноша, с Толстым как с писателем: “О, эти невыносимые скучные длинные, сложные, периоды в его романах!” Ваш кумир — Александр Грин: бегущие по зеленым волнам юношеские грезы и эротические алые паруса, с привкусом алкогольного счастья автора! Яснополянский мудрец, мой юный друг, прежде всего, ж и л е ц з е м л и. А человеческая жизнь так же длинна, скучна и сложна, как его периоды, но, поверьте мне, — все-таки выносива».

«Да, да, — волновался на тощем ватном тюфячке Рухин. — Как вы, Учитель, правы! Я теперь знаю, почему во французском плену философствовал Платон Каратаев Толстого, так и мне здесь, в немецком плену, наступило время философствовать. Но, но! — все воспротивилось в юноше, — я не хочу выводов предсмертной мудрости! Пусть в бараке я самый нелепый, смешной и ненужный, но я не хочу быть жертвой! Нет и нет!..» Рухин огорчился и уснул обиженным и высокомерным.

После первого наказания Рухин сочинил фразу, с которой намеревался обратиться к надзирателям, — с просьбой снабдить его очками. Несколько раз подправлял оттенки своего обращения — оно должно быть коротким, — начальствующие терпеть не могут длинные речи подвластных, сообщить им о своем неравном положении, в котором оказался без всякой на то вины, и, последнее, выразить надежду, что призыв к справедливости вызовет у них благородный отклик. Вот эта фраза: «Господа немецкие охранники, я решился попросить у вас то, что не имеют мои товарищи, — очки, но очки вернут мне зрение, которое у моих товарищей есть».

Фраза хорошо звучала в те редкие часы, когда перед сном можно было прогуляться вдоль барака. Жизнь сухой

травы вдоль дорожки, колючая проволока, вздрагивающая от ветра, шурк воробьев, с геометрией теней, пробегающих по стене барака, — Рухин словно подсматривал за этой другой, незаинтересованной жизнью, — как некогда наблюдал за прохожими на улицах Арбата, — и снова чувствовал себя не рабом-роботом за табельным номером F — 11740, но потомком славного рода, разумным существом и необходимой частью Вселенной.

Рухин слишком увлекся сочинением совершенной фразы, но вовремя спохватился. В том положении, в котором он находился, она звучала дерзко и вызывающе еретической. Выслушав ее, надсмотрщики рассмеются ему в лицо, как хохотал фельдфебель над переводом его команд, а он, который раз, будет искать объяснения, как получилось, что рядом с зоной страдания и смерти образовалась зона невинного развлечения и довольного смеха. «Когда-нибудь я напишу об этом теми самыми скучными толстовскими периодами», — говорил себе юноша.

Вполне возможно, что надсмотрщики были так же смешны и нелепы, как он, только там — в своей зоне среди своих. Немолодые, бритые, один в очках, они степенно ступали вдоль транспортера, на который рабочие нагружали цукеррюбе — то есть бураки, присматривали за ходом работ и беседовали о поэзии. Они говорили продуманными формулировками, углублялись в детали и сопоставления; каждый экскурс украшали именами хороших поэтов и хорошо отобранными стихами. Останавливались они именно около Рухина, как того звена в порядке мироздания, которое им внушало наибольшие опасения. Его работоспособность была условием спокойного продолжения их бесед.

Они останавливались — и Рухин слышал сквозь шум бегущей ленты транспортера фрагменты их ученых бесед. Если говорить в целом, то вполне простительны и небольшой пропуск в строке Вергилия из «Георгик» — охранник

его почувствовал, ибо сбился с ритма¹, и забавная абберация в памяти одного из них: слова Рембо о поэзии он написал другому французскому поэту Готье.

Свою собственную странность — память, которая без усилий со стороны юноши, удерживала тысячи строк поэтических и ученых, имена и даты, года изданий и даже обложки книг, даже их запах, и даже пометки на полях, эти благодарные — «Как верно!», ироническое — «Неужели!» и «NB» — ученых книжников, — эту свою способность Рухин не ценил. Вернее, перестал ценить после того, как Учитель стал настойчиво иронизировать над слабостью «Юного ученика» — так торжественно он называл Рухина, — уточнять высказанное другими.

«Поэтический факт, — говорил Учитель, — создается выразительностью. Его точность — это точность возвращения к незабываемым впечатлениям со счастливо повернувшимися словами. И тогда я ничего не хочу знать, что находится за стихотворной строкой. “Выхожу один я на дорогу, предо мной кремнистый путь блестит...”, не правда ли, Юрий, все забыто, — и, разумеется, то, что наговорят ученые мужи. Так и вы, Юный ученик, умеете забывать числа Поликлета и разумного друга поэтов Эйхенбаума».

Драгоценные уроки! ...Или вот этот. Учитель протянул юноше руку, но как бы спохватился: «Юрий! Интеллигентный человек, протягивая руку, уравнивает ее, чуть-чуть откидывая назад голову. Неинтеллигентный человек тянется за рукой весь, тело его складывается в поясице — на этом шарнире рабов...» Рухин научился откидывать назад голову.

Слушая новые фрагменты бесед охранников, Рухин поражался быстрым переменам в их речах. Поэзия и поэты в их рассуждениях раздвоились. Хорошие стихи про-

¹ В русском переводе строка звучит так: «В век, как впервые стада свет начали пить свет, и железный род человеков...» В скобке заключен пропуск, допущенный ученым охранником.

износились, но речи о поэтах кишели суровыми интонациями. Они знали прегрешения и слабости каждого из них и считали их непростительными, во всяком случае, они не отказывались, не имея этих пороков, от своего превосходства над ними.. Юрию чудилось, что, помимо их двоих, где-то рядом присутствует кто-то третий, которому они самозабвенно мстили, и пот покрывал их бледные лбы.

Речи охранников о поэзии лишали его последней доли выдержки. Они проникли в сны Рухина мучительными кошмарами — экзаменационными допросами. Оказывалось, что все, что он отвечал суровым охранникам, было неверным, давно устарело, кем-то намеренно искажено, а он сам заслуженно отбывает наказание на родине Шиллера и Гёте и некоего Вернера.

Из жителей барака лишь он испытывал такого рода страдания. Это была вторая причина, неминуемо приближавшая его отправку в корпус «Z». «Ах, Олег Михайлович, — молился юноша, — вы могли бы меня спасти одним словом!»

Рухин бежал после вечерней разгрузки. Он проскользнул на открытую платформу вагона, лег на пол — на тонкую пыль с еще не улетучившимися запахами жизни земли: грибным и кислотным. Громыкнули вагоны, и поезд всю ночь без остановки шел под осенним звездным небом.

Тени городов и ключья паровозных дымов встречных поездов задевали беглеца, взволнованного свободой. На спине лежа, он видел, как враждебные этой стране караваны самолетов прокладывали световую долину, оставляя за собой медленно опускающиеся ослепительно голубые шары, а на земле невидимые механизмы прессовали залпы, закидывали за шары разноцветные нити траекторий снарядов и пуль. Поезд миновал города, видом и запахом напоминающие в тысячи раз увеличенную сковородку с обгоревшим на ней мясом. Темные пространства с пога-

шенными огнями казались то сиротливо покинутыми, то черной шерстью притаившегося хищника.

На рассвете поезд остановился на небольшой станции. Когда возле вагона слышались голоса железнодорожников, Рухин перевалил борт платформы и зашагал от путей в сторону. Потом, когда его заметили, побежал, пересек поле, кое-где перепаханное под зябь, потом перелесок с глубокими выемками песка. Каждая складка ландшафта входила в его тело — сердце то бешено колотилось, то замирало, когда, расставив руки, чтобы не потерять равновесие, в своих бахилах, смастыренных из ремней старых трансмиссий, бежал под уклон.

Беглеца настигли собаками часа через полтора. Рухин не пошевелился, когда сквозь поникший от холодов боярышник просунулась морда овчарки. Собака залилась лаем — появилась еще одна. Не спуская с него глаз, легли напротив. К тому времени, когда появились мужчины в высоких сапогах и гражданских пальто, подпоясанных ремнями, Юрий к собакам успел привыкнуть.

Ему приказали встать, обыскали и привели на хутор, где полицейский чин, похожий на Тартюфа, потерявшего добродушие, учинил допрос. Рухин отвечал «да», «нет».

В одном случае он допустил оплошность. Полицейский схватил палку и зарычал, когда Юрий на вопрос, сколько ему лет, ответил: «Девятнадцать с половиной». И другие присутствующие восприняли «с половиной» как дерзость, как если бы он, не немец, имел право пользоваться только целыми числами. Но все-таки его не били, только выводя к прибывшей машине, толкнули на лестнице. Тяжелые бахилы остались на ступеньках, а он упал. Тартюф футбольными ударами отправил бахилы Рухину, и все засмеялись смехом галерки.

Беглеца сахарному заводу не возвратили, в тот же день он оказался в бараке сталелитейной компании. Здесь все было пропитано запахом формовочной земли и мокрого металла. Соседом по нарам оказался старичок, бывший

портной из провинциального Ржева, который обшивал клиентуру из привилегированных местных лиц. Он достал Рухину, хотя и с трещиной, чудесные очки — и захватывающий мир далей и букв возвратился к молодому поэту. Его здесь расспросили, кто он и откуда, старались убедить, что он дурак, раз сбежал с сахарного завода. «Тут ничего с шамовкой не сварганишь». Но у Рухина было ощущение большой удачи.

Предчувствие не обмануло его. Утром их построили колонной и повели на завод круто поднимающейся дорогой. Шли свободно: переговаривались, передавали из рук в руки сигарки, обличали товарищей в жадности, действительной или мнимой, а свою щедрость, действительную или мнимую, восхваляли. Здесь, Олег Михайлович мог бы повторить, «теплились искры морали, что остались от лампадного тепла старой семейной религии». Юрий снова благодарил Учителя за преподанный урок мудрой проницательности.

Колонна достигла темени круглого холма — и открылась картина, которая захватила Юного ученика. Внизу простиралась долина, с тускло-свинцовой лентой реки, стесненной пристанями, баржами, буксирами. Уже тут, в километре от заводских корпусов, воздух вибрировал от ударов, звона и лязга. В полутьме рассвета взад-вперед толкались железнодорожные составы; жилы огня вспыхивали в окнах строений. Дымы и клубы пара вырывались из сотен труб, клубились, таяли, тянулись в сторону медлительной небесной рекой.

«Как дивно, как дивно!» — взволнованно пропищал Юный ученик открывшейся перспективе. Он слышал глухие удары паровых молотов, чавканье расслабленного огнем металла... Это был з в у к, это был о г о н ь, это был м е т а л л, это были л ю д и, это был он с а м, но юноша услышал над долиной раскаты грозной музыки и ритмы еще не написанных стихов.

Сердце Рухина неистово билось, чтобы насытить кровью сонм образов, озаривших его. Ему чудилось: сами образы извергались бесчисленными трубами долины, и это они текли вдаль черной рекой, переваливая чуть угадываемую линию горизонта.

«О-о-о», — лихорадило Юного ученика. Ему никак не удавалось упрятаться от холода в своей ветхой робе. Но он переживал блаженство познания и величие зарождающегося замысла. Если судьба Рухина когда-нибудь привлечет к себе внимание биографа, в его жизнеописании должно быть записано: «В октябре 1944 года Юрий Рухин задумал создать большое поэтическое произведение».

Поэта поставили на погрузку металлоотходов — распорядители судеб, по-видимому, решили, что функции, исполняемые человеком в течение жизни, не должны меняться. На заводскую территорию подавался порожняк. На опрокидывающихся вагонетках бригада Рухина завозила на железнодорожные платформы металлический лом и стружку. Контролер, поставленный следить за работой бригады, являлся лишь в конце рабочего дня. Он либо направлялся к бригадиру Алексе, чтобы смазать по физиономии за филонство или, похаркивая значительно, промолчать, окинув свалку глазами.

Раз в неделю невидимые в ночном небе стаи металлических птиц сбрасывали на заводскую территорию особенные бомбы, чтобы вырывать заводские цеха из земли с корнем, — взрывы подбрасывали в воздух глыбы бетонных фундаментов, переплетение стальных конструкций, обломки станков и образовывали туман из пепла и бумажных клочьев, в которых была запечатлена в графиках, чертежах, приказах, отчетах вся фанатичная целеустремленная деятельность теперь уже искореженного цеха.

Рухин подносил к глазам этот рассеявшийся во все стороны уже археологический прах, и ему казалось, что он читает случайно сохранившиеся письма уже навсегда исчезнувшего племени. Некоторые слова поражали его

тяжелой грубостью — zermalmen (расплющивать), некоторые — опасной нежностью — zusammenschweißen (сваривать). Теперь пропуск в стихах Вергилия, допущенный охранником, не казался Юрию случайной оплошкой — слова «железный род человеков» опьяняли голову ученого латиниста. Рухин повторял про себя слова Вергилия, но иные — о земледельце, чей плуг выворачивает на полях сражений «пустые шлемы» и «ржавые дротики»...

Дважды в месяц под ответственность бригадира их выпускали из зоны.

Бригадир их вел окраинными улицами к стоянкам такси, к остановкам трамваев, к тем местам, где функционировали шалманы. Бригада собирала окурки сигарет. Иногда домовладельцы давали работу — убрать двор, перенести уголь. После работы, бывало, гнали вон, бывало, кормили или давали деньги, на которые в одной пивной остарбайтерам отпускали пиво. На обратном пути товарищи Рухина обсуждали удачи и неудачи «пасхи» — так называли они выпускные дни. В жестяных коробках из-под зубного порошка и мелких конфет копались, окурки сортировали, потрошили, спорили.

Рухин окурки не собирал, шел позади своих товарищей, читал афиши, воззвания, объявления. Старые камни оград и домов напоминали ему о том «растворе», о котором говорил Учитель, о «растворе, которым держится мир». «Сцепление вещей, — говорил Олег Михайлович, — загадки для поэтов, потому что поэт — не сочинитель, а постигающий то, что находится между вещами, — вещи же ему даны — вот они!» — Олег Михайлович обводил вокруг руками, как будто перед ним паслись послушные стада, улыбался и на время замолкал.

Остарбайтерам разрешалось ходить только по мостовой, и это правило Рухин признавал естественно вытекающим из травмы организованного величия аборигенов. Пошлая жизнь тротуаров, состоящая из жакетов и пиджаков, кепок и шляпок и множества лиц, удивля-

ла юного поэта: как, однако, многообразны семейства охранников!

О существовании заводов здесь можно было забыть, но и здесь они тонко присутствовали. Именно они своим существованием формировали жесткое единство горячего железа и надменность охранников, порядка и пива, страны и линий еще далеких фронтов. Человек — изложница металла — эта метафора навязчиво заполонила воображение юного поэта. Вергилий, который провел Данте по всем кругам некогда сбывшихся жизней, теперь будто водил его по руинам и улицам еще живого города.

Рухин понял, что надзиратели, говорившие о поэзии, шли к смерти, предчувствовали ее, но ничего не могли изменить. Их тревога, и мстительность, и возрастающая смелость суждений были не опровержением, напротив — усиливающейся готовностью к смерти. Рухин искал слово, которое бы заключало в себе смысл «академии» и «кладбища», и остановился на слове — «финалисты».

Человек — изложница металла относилась к тем, кто был готов пить струю чугуна в надежде увековечить себя через смерть.

...«Юный мой Ученик, как бы я хотел, чтобы вы страстно полюбили противоречия и были им преданы, как епископ символу веры. Может быть, из всех уроков самый трудный этот. Я обещаю, Юрий, вам наслаждения, которые знает лишь настоящий поэт. Люди ловят воздух там, где у поэта под ногами твердь, и потому профанам кажется, он идет по воздуху. Поэт носит в кармане пропускной билет и в Ад, и в Рай. Он перекидывает арки и мосты между несовместимостями, склеивает “позвонки столетий”, служит колоннам капителью. Я постиг, к сожалению, это слишком поздно.

Вам, мой ученик, будет диковинно узнать, при каких обстоятельствах я извлек из опыта свое поучительное резюме.

Однажды, дорогой, я выходил из ресторана в сильном подпитии. То есть — в состоянии “доброе молодца”. Я крикнул: “Швейцар, такси!” И слышу: “Я не швейцар, а адмирал военно-морского флота”. Вы понимаете, я перепутал мундир адмирала с ливреей швейцара. Я тотчас поправился: “Тогда, любезнейший, катер!..” Как поэт, я не ошибся... Вы поняли, что я имею в виду? Быть поэтом — рискованное занятие, но иначе не соорудить что-то подобное куполу собора Петра и Павла. Для этого необязательно быть таким мрачным честолюбцем, каким был Микельанжело»...

Дорогой учитель, как бы я хотел прочесть вам строки из моей поэмы «Верните аисту перья!»¹. Каждый день я дополняю ее двумя-тремя строфами. Как я скучаю по вашим урокам, нашим беседам, даже по панцирю черепахи на вашем письменном столе...

Через два месяца поэма была закончена.

Рухин узнал об этом случайно в одну из «пасх». Он, как всегда, шел следом за своей бригадой и вдруг почувствовал, что уже ничто не может проникнуть за ограду его поэмы. Ни марширующие по улице юнцы, ни девушка с газовой косынкой на плечах, ни пастор, сунувший ему с шепотом молитвы булочку, завернутую в пергаментную бумагу, ни листовки, сброшенные ночью с неба, предложившие жителям покинуть город, ибо он будет «dem Erdboden gleichgemacht» — сравнен с землею.

И следующий день не добавил ни строчки. А вечером произошла ссора, причину которой он так и не смог себе уяснить, то ли действительно спутал чужую хлебную пайку со своей, то ли Алеха по своей привычке провел гряз-

¹ Поэму назвал так после того, как в долине взлетел на воздух патронный завод. Воздушная волна была такой сильной, что у аиста, гнездившегося недалеко от завода, вырвало все перья. Рухин наткнулся на его голое ногастое тело и попросил у птицы прощение за всех людей.

ной рукой по губам Юрия, а он, к удивлению свидетелей, бригадира ударил, и тот медленно удалился в проход между нарами, падая. Не случилось бы этого, если бы двери поэмы не захлопнулись, если бы он не остался на ее пороге одиноким и бездомным. Алеха что-то понял, чему-то усмехнулся — поэта простил. «Пенёк, — сказал он, — ты хотя бы предупреждал, когда сам на себя сердиться!» Братва рассмеялась, а у Рухина выступили слезы.

В ночную смену бомбили всё — и заводы, и город. Бригада по обычаю отсиживалась в щели на свалке под гигантской шестеренкой, которая, наверно, должна была стать частью какого-то неведомого механизма, — теперь же ее невозможно было ни поднять, ни погрузить, ни убрать.

В щель просунулось курносое лицо жоака. Через дыру в заборе повел их на железнодорожную станцию. Пути были безлюдны. Мирно горели вагоны. Горячим дождем с неба сыпались осколки зенитных снарядов. Из опрокинутой цистерны выбежало молоко и в розовом освещении пожара покрывалось пенкой. Они обшарили вагоны и через час вернулись в щель с банками сардин и повидла, кругами колбас.

Рухин в вагонах с изрешеченными стенками трогал эти драгоценности, взвешивал в руках и опускал на место. Между Рухиным и вещами не было ничего общего. Он так и остался в поэме, так неожиданно завершившейся, и то, что завершилось, было прекраснее мира, хотя только этот мир и наполнил ее.

Рухина обругали и дали нести какой-то ящик. Алеха сказал: «Я вижу, ты уже намылился. Смотри, бедолага, не подведи себя под монастырь. Хозяева не любят рецидивистов».

Да, подумал Рухин, я уже «намылился».

Олег Михайлович, вот как кончается жизнь! Я не могу выйти из поэмы. Зачем! Куда!.. Стоит ее коснуться, она не отпускают меня до тех пор, пока не услышу ее до конца. Я, как гнездо, покинутое аистом, моя жизнь как аиста, кото-

рому некуда опуститься, моя жизнь, как у аиста, которого лишили перьев...

Второй побег Рухин совершил утром, когда они выносили из-под развалин цеха немецких работяг, убитых ночью. На путях формировался состав. Паровоз подали со стороны солнца. У него не было готового решения даже в тот момент, когда машинист ответил длинным гудком на свисток отправления. Но чуть вагоны тронулись, Рухин бросился путанными ходами свалки к забору, где, помнил, была дыра. «Чума, стой! Застопори!..» Это — за спиной, а впереди вагоны, набирающие скорость.

Юрий вскочил на подножку кондукторской будки и закрыл за собой дверь. Когда поезд вырвался из городских кварталов и вскоре запыхтел на возвышенностях Шварцвальда, распахнул дверь и строфу за строфой прочел поэму ветру.

Он поверил — его поэма гениальна.

За Одером Рухин пошел пешком, тут железные дороги строго охранялись от диверсий партизан. Обходил стороной городки и сельские поселения. Его путешествие походило на движение указки по школьной карте Европы, так как он знал название лишь крупных городов и рек. Питался картофелем, который набирал на оттаявших, плохо убраных полях. Ориентировался на солнце. Читал поэму и вел беседы с Олегом Михайловичем.

Олег Михайлович говорил:

«Все думают, что поэт — фокусник слова, о, роковое заблуждение, проданное публике плохими поэтами! К поэту сбегаются вещи! Опять повторю, поэты ничего не сочиняют. Читатели бегут в стихи, чтобы получить вещественность своих жизней назад, ибо их душа полнится лишь ломбардными квитанциями... И поэт ее возвращает. Ибо, когда поэт пишет, ему нужно всё богатство мира. Когда перо выпало — в его руках не остается ничего».

Рухин отвечал: «Учитель, я бегу на солнце, бегу “между вещами”, — так говорите вы. Поэма не отстаёт от меня, как оводы, преследовавшие бедную Ио. Мне кажется, мы

бежим с нею вместе. Я постоянно слышу ее дыхание. И все больше забываю, что я стихотворец».

Однажды его чуть не проткнули штыком, когда он прятался в стоге соломы. На границе Германии с Польшей в него стреляли. Но ему везло. А в лесу за Вислой поэта приговорили к расстрелу.

Рухина задержал польский бродячий отряд, где от каждого офицера пахло одеколоном, а от солдата — водкой. Они были против немцев и против русских. Это были самоуверенные детдомовцы войны. Как они не понимали, что их *werden sie zermalmen* — расплющат. Рухин говорил с ними на правильном польском. Юность бабушки Юрия прошла в Вильно, затем в Москве преподавала польскую литературу в университете; вместе с внуком прочла всего Мицкевича и кое-что из Пшебышевского и Сенкевича.

В то, что беглец о себе рассказал, командиры отряда не верили. И решили, что расстрел в таком случае уместен.

Но уже тогда в котомке он носил бутылку французского коньяка: тот вагон, в котором он добрался до Одера, был набит ящиками вина. Изучив этикетку на бутылке, поэт мысленно обратился к Учителю и получил ответ, что такой презент будет им принят благосклонно.

Командиры отряда уже приняли решение относительно задержанного и объявили ему об этом. Но прежде хотели узнать, что за бутылку, старательно завернутую для сохранности в тряпье, нашли у него в котомке, — что в ней такого, что он отказывался с нею расставаться.

Со слезами восторга Рухин стал рассказывать о своем замечательном Учителе, великом поэте, о своей надежде доставить ему приятное своим подарком.

Командиры были озадачены. После страстной дискуссии они поверили, что и сейчас где-нибудь может существовать великий поэт, а великий поэт — совсем другое дело, великие поэты играют в совсем другие игры. Так сказал пожилой усатый поляк, пользующийся среди

командиров авторитетом. Они сказали Рухину: «Пшел как хошь».

Рухин снова завернул коньяк в тряпье и удалился, как удаляются из антикварного магазина с вещью, которая оказалась слишком дорогой.

Половину Польши Рухин прошел на исходе зимы. Потом фронт океанским валом прокатился на запад. Утлой лодчонкой его кружило на месте — его арестовывали, куда-то направляли, кому-то препоручали, потом три недели пролежал больным в Почаевской монастырской обители. Выжил, ушел из монастыря, забился в поезд, который, узнал, шел на Москву.

Рухин был страшно худ, борода, пустившаяся в рост, делала его стариком. Кондуктор поезда так определил его настоящее и будущее: «Что, дед, в столичную больницу правишь!» Три дня он ехал в трофейном танке, который вместе с другой железной добычей войны везли не то на выставку, не то на переплавку. Когда сошел с платформы, земля закачалась под ногами. Ему стоило большого труда добраться до трамвая, до Арбата.

Юный ученик плакал в садике напротив дома Учителя. Он был не в силах преодолеть последние метры пути. Он плакал и был счастлив: он видел окна Олега Михайловича и там горел свет.

Было полночь, когда Рухин поднялся. Поражаясь торжественности момента, ступил на лестницу. Старые ступеньки, знакомые дверные таблички, даже исцарапанная штукатурка — все здесь было наделено смыслом. Мир вещей изумил его своим возвращением. Он прошел между каплями дождя, теперь каждая из них бежала по его лицу.

Он знал любовь Учителя к чину, смахнул грязь с брезентовых штанов, одернул полы задирающейся горбом телогрейки. Позвонил.

О, эти шаркающие шаги божества, ироническое покашливание перед тем, как открыть дверь посетителю!..

— Юрочка?!..

Рухин упал бы на грудь поэта, если бы не знал, как тот не любит всё, что случается в театре.

— Прошу, мой друг!.. Я вижу, вы окоченели, как Большая Медведица. Ноги! Ноги!

Рухин, потерявший дар речи, долго топтался в прихожей, избавляясь от своих чеботов, и, наконец, вошел в комнату Учителя, с чуткими подвесками люстры и панцирем черепахи на письменном столе.

— Как поздно вы пришли, мой так повзрослевший ученик... Как непоправимо опоздание! — Олег Михайлович долго маневрировал около своего кресла, как будто на пути к нему он должен был миновать несколько железнодорожных стрелок. Умогнулся и почти скрылся в облаке трубочного дыма. — Все давно уже закрыто, а я, как на дне колодца, из которого только дух джинна может вознести.

Ученик знал, что Учитель не в духе, когда говорит каламбурами.

— Олег Михайлович! Олег Михайлович!.. — от волнения чуть слышно выговорил Рухин. Он вышел в прихожую и вернулся, неся в вытянутых руках коньяк.

— Ах, каналья! — воскликнул Олег Михайлович, весь погрузившись в созерцание сосуда.

Нет! Вещи по-прежнему сбегались к старому поэту, даже если для этого им нужно было пересечь полмира. Но поэт не всегда верит в их подлинность.

Олег Михайлович открыл бутылку. Наполнил фужер, запрокинул голову..

Рухин глазами пожирал Учителя. Копна его волос поделала и поседела, а голова теперь Юрию напоминала не голову льва, а львенка.

Рука старого поэта еле донесла пустой фужер до стола, он что-то пробормотал устало и отрешенно. Потирая руки и виски, пытался себя взбодрить, но язык не подчинялся, глаза смыкались. Олег Михайлович уснул в кресле, выпятив губы и уронив голову на грудь.

Рухин прибрал в комнате, как делал это когда-то, отыскал тот плед, которым накрывался на кушетке, когда учитель оставлял его ночевать. И погасил свет.

...Утром услышал шлепанье туфель и удивленный возглас:

— Неужели эти мокасины милого юноши так благоухают французским коньяком?..

В складках пледа еще таится ночное тепло. Рухин пытается вспомнить поэму и не хочет поверить, что мог ее забыть.

УБИТ НА ПЕРЕПРАВЕ

1

Петя на кушетке под толстым халатом. Мать у зеркала, она одевается.

Одевается, как в театр — к тщеславному празднику нарядов и ритуальных манер, как в гости — к чмоканью в щечку и застолью; как на похороны...

В сумочку — платок. Взгляд в зеркало спрашивающий, духи на висок, в ямки ключиц.

У Пети дрожат колени, он свидетель невероятного: мать идет на свидание к убитому отцу, через двадцать лет. Она — видит ее в зеркале — как в лунатическом сне: к ней вернулось волнение и неловкость девочки.

И он присутствует в этом ее сне, он сам становится призраком и любит ту девочку у зеркала, он сам отец себя — и тогда он сам убит.

А может быть, ему дано подсмотреть начальную тайну женщины, которая еще не решила, дать или нет начало новой жизни — и эта жизнь его, Пети?..

Она забывает сказать ему что-нибудь обычное. В пальто и берете удаляется беззвучно, как память. Ушла повторить все сначала.

Петя вслушивается в тишину. Ему кажется, комната колеблется. Он боится шевельнуться, чтобы не разрушить этот порядок хаоса, в котором мать уходит, как хочет, в двадцать-тридцать лет назад. Но когда вернется, ведь всё станет прежним?..

Петр вращается на диване — жарко под шерстяным халатом.

У Пети грипп.

Большое спокойствие пришло сразу. Петя их увидел: мать и отца, идущих рядом. Он знает мудро: вместе они в последний раз.

2

Гостиница была незнакома Юлии Владимировне. Она поняла, что идет не в ту сторону... 207... 208... 209... — свидание назначено в 201-м номере. Но видела конец коридора и дойдет до его конца и вернется — тогда ей будет спокойнее.

От ходьбы по толстому ковру согревалась, мышцы лица отходили от мороза. У окна на вокзальную площадь повернула назад.

Впереди у открытой двери стоит человек и смотрит. Такой домашний в отличие от других постояльцев гостиницы — в шлепанцах. Там — у 201-го. Не зная зачем, открыла сумочку, спешит. Делает неслышные шаги. Юлия Владимировна рада, что может улыбнуться, легко вытащить из перчатки кисть.

— Я приехал в отпуск, — человек принимает пальто, берет за локоть, указывает на стул. — Ваш телефон узнал в среду и все эти дни не знал, где лучше вас встретить: на перекрестке, на скамейке в сквере... — Сам сел поодаль, опустил локти на колени, добродушно поднимает глаза. — А вообще, лучшее место для встреч — междугородный переговорный пункт. Там тихо. Разговаривают только в кюветках.

Я знал только вашу фамилию и имя. Для такого города мало. В тундре проще, может быть, на всю тундру, — он словно провел рукой по географической карте, — только и есть одна Нечаева. А может быть, и ни одной.

Он привстал, откинул бумажную салфетку со стола: длинная бутылка, два бокала, апельсин. Налил и с бокалами вернулся на место.

Юлия Владимировна ждала. Она почувствовала себя словно в темном туннеле. И хотела, чтобы этот человек, с плоской грудью под белой рубашкой, вывел ее на свет. Она боялась, что он, непонятный и в то же время на кого-то очень похожий, не сумеет сделать этого.

— Я мог бы сделать проще, послать письмо, описать то, что знаю. Но вы... — «товарищ мужа» (так он представился по телефону) вздохнул и умолк. Она поняла, что этот вздох сокращал всю цепочку возможных объяснений и доказательств. Юлия Владимировна кивнула, она принимала эти сокращения, потому что их встреча — не более чем случайность: из давно затаившегося в памяти мира явился негаданный гость, чтобы что-то произнести и исчезнуть в том же безвозвратном времени.

Кивок Юлии Владимировны ободрил хозяина комнаты, и он начал снова:

— Письмо, понимаю, было бы проще — короткое письмо. Я должен был написать вам всего два слова, которым вы все равно не поверите, написать, что я — это... он.

Юлия Владимировна вздрогнула. Улыбка человека раскрылась еще более. Он выпрямился на стуле, но продолжал смотреть из-под бровей.

— А я, между тем — ...он. Да, он. Вы поймите меня спокойно. Отдохните, пожалуйста. Выпейте немного. Хотите, помолчим?

Юлия Владимировна улыбнулась. Она приняла передышку с облегчением.

— Вы геолог? — спросила она.

— Да, — уронил он бесстрастно.

Юлия Владимировна отпила из бокала, поправила на коленях юбку. Ей нужно было оглядеться, ощутить себя в пространстве, в котором ее силы что-то значат. Но разговор снова втягивал в узкую, неведомо куда ведущую продолжительность; она хотела бы знать — куда?..

— Я — Нечаев в том смысле, — сказал товарищ мужа, — что на моем месте он делал бы то же, что делаю я. Если бы он оказался в тайге за пятьсот километров до ближнего городка — то носил бы такие же сапоги, как я, курил бы такие же папиросы — нам в партию отпускают только «Беломор». И искал бы никель или молибден — оказалось бы, вы меня понимаете, что Нечаев, то есть я, мы обходимся

тем же самым, занимаемся одним и тем же делом. И читал бы книги из тех книг, которые читаю я там...

В письме я не стал бы писать, что Нечаев был скромным, покладистым человеком, — что ж делать себе комплименты! И говорю это не для того, чтобы навязать вам дружбу. Так есть... Но главного я еще вам не сказал.

Человек сделал паузу, размял папиросу, несколько раз осторожно — так думалось — провел спичкой по коробку, и пока был этим занят, его физиономия снова наполнялась улыбкой. Юлия Владимировна напряглась, она требовала от товарища мужа это *главное*: ибо нельзя пить вино, стараться улыбаться, выслушивая странные вещи, и бесцеремонно обходиться с человеком, — неважно, что он убит, и убит двадцать лет назад.

— Так что же главное? — с нетерпением тихо спросила она.

— Вы все время считали, — наконец произнес товарищ мужа, — что он убит... А он жив...

— Как? — Юлия Владимировна встала. — Вы мужчины! — Губы ее задрожали. — Я не полагала, что вы воспользуетесь знакомством с мужем, чтобы в своем отпуске один день отвести на шутки!

Она качнулась. Пальцы, обнаружив стол, помогли ей сохранить равновесие.

В ней ожило то, что мучило ее годы. На улице, без всякой на то причины, ей вдруг начинало казаться, что ее Станислав где-то здесь, сейчас выйдет ей навстречу, — и упустить его никак нельзя, тогда потеряет снова и уже навеки. Поздний нежданный звонок в квартиру — опять: это он, он!.. Стало больной привычкой в каждой группе зарубежных туристов, которых ей предстояло обслуживать, всматриваться в лица... Может быть, этот человек в шлепанцах собирается громко назвать имя ее мужа, и он, ее муж... ждет этот крик за дверью...

Но человек не крикнул. И она вернулась из мира призраков в 201-й номер. Но за время ее отсутствия произошло многое.

Она по-прежнему стояла, опираясь на стол, вскинув голову, — так она лучше бы услышала этот крик, но человека на прежнем месте не было, он стоял перед нею. Его рука лежала на ее плече. Он был на расстоянии запаха ее духов. Посланец из прошлого не улыбался, не сочувствовал, не изучал ее — на его лице было что-то большее. Она невольно представила, какова она теперь. В первую секунду ей хотелось оттолкнуть чужую руку, но движение ее замерло.

3

Самолет взлетел, и звон моторов погрузил пассажира 53-го места в бессмертие. Он не улыбался, не сочувствовал чему-либо, не изучал этот мир, который открылся внизу широкой чашей. Над домиками, нитками дорог, невидимой микроскопической жизнью людей поднималась дымка. Эти утренние испарения казались духом, невидимой, неутомимой деятельностью тех, кто сейчас внизу горбился за станком, кричал в телефонную трубку или шел по улице, слыша гул моторов в небе. Только на большой высоте, у иллюминатора самолета Михаил Иванович в полном величии ощущал беспредельность своего существа. Только здесь, на высоте одиннадцати тысяч метров, он находил утоляющее соответствие между собой и миром, лицезрел пространство, наслаждаясь его простотой...

На войне батальоны поднимались в атаку. Когда через несколько дней наступления их собирали прежние или новые командиры, в живых оставались немногие. Но прибывали новые роты, заполняли окопы, устраивались — и все начиналось снова, снова шли в атаку, чтобы возродиться через пару недель уже в следующем стриженом и любопытном пополнении... Ему везло, но, глядя на незнакомые лица, гадал, кто же будет тот, кто, наступит время, заместит и его. На фронте, а позднее вся жизнь стала для

него подобием волнующегося под ветром хлебного поля: колосья клонятся, волны перекатываются, — их будто прибывает к далекому горизонту, — и они все тут, неистребимые, не уходящие и не останавливающиеся никогда.

Заглядывая в иллюминатор, трогая на коленях газету, он думал о той ночи, когда ему вдруг все стало ясным.

Начальник геологической партии Н.П. Васильев скандалил с женой и начальством. И вдруг однажды пришел в расстегнутой кожанке в контору, покрутил телефон, накричал: «К черту, все к черту!» — и уехал. Жена висела на его руке, когда, размахивая чемоданом, он спешил на последний в ту осень пароход. В ту ночь Михаил Иванович остался в кабинете начальника один: ему передали телефонограмму, чтобы он заменил Н.П. Васильева. Листал документацию, банковские счета, требования, письма, инструкции — и ничего не понимал: в партии он отвечал за пару двигателей на буровых вышках. Устал и задремал. А когда проснулся, то все уже знал. Это и было то самое повзросление. Именно тогда жизнь открылась ему в своей простоте.

Утром на стуле, который занимал бывший начальник, переждал ухмылки геологов и буровиков. Постучал легонько карандашом по графину — так начинал планерки бывший начальник, предложил папиросу техноруку, — как делал его предшественник, и повторил его поговорку «Приступим!» Теперь настало время усмехнуться над великим повторением жизни ему — тетя Паша стала жаловаться, что в бараке горняки ломают тумбочки и ножами изрезали столы, корректоры который раз требуют...

Жизнь пошла, как будто никогда Н.П. Васильева не было. Через месяц уже редко кто поминал его власть и шумные ссоры с женой. Как Н.П. Васильев заменил когда-то кого-то, так теперь заменили его, и Михаил Иванович теперь — Н.П. Васильев, только люди не замечают этого. И, рассуждая далее о кожанке, в которой ходил прежний начальник, криках по вечерам жене: «Изолгалась!

Тещина кровь! Убью, в тундру выгоню!» — он понял, что есть л и ц о — так он назвал то, что никакого значения не имеет, но заслоняет людям силы, невидимые, но управляющие жизнью, — несущие всех в кожанках и без, как поток несет щепки, своим простым, *естественным* — это слово Михаил Иванович любил — путем.

Ему, человеку мерному и вдумчивому, за многие годы пришлось заведовать перевалочной пристанью и отделом кадров экспедиции, механическими мастерскими и домом культуры в районном городке — и ни новый опыт, ни служебные перемещения не могли поколебать правоту его истины.

Как-то ночью ни с того, ни с чего вспомнил рядового Нечаева — у них на двоих был один котелок — и женскую фотографию в его руках с подписью «Юлия». Пришла в голову мысль, что в его воле разыскать ее или не разыскивать, рассказать или не рассказывать, как погиб ее муж. Ничего не решил, но женщина с фотографии поселилась в его сознании, как соседка в комнате за стенкой. С нею что-то происходило — не всегда понятное, но всегда ее образ вызывал в нем сочувствие. За много лет он привык к этой близости. И стал думать, что только этой женщине скажет то, что не открывал никому..

Михаил Иванович откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и вызвал в памяти Юлию Нечаеву. Поставил у стола и заставил снова повторить слова: «Вы хотите сказать, что Нечаев бессмертный...» Несколько раз повторил фразу, разучивая интонации женщины, и на дне, за словами, открыл горечь, потом насмешку. Он проделал операцию проникновенно и, прежде чем сделать следующий шаг, отвлекся — взглянул в иллюминатор — самолет делал едва заметный крен, и земля повернулась каруселью. «До посадки в Норильске осталось пять минут. Пристегните, пожалуйста, ремни», — объявила стюардесса.

Самолет скользил вниз. Он не успел сделать следующего шага. Однако не огорчился, потому что никогда не

спешил. Он сказал: «Что же вы, Михаил Иванович! Решили нас покинуть?» — и улыбнулся. Это должен был сказать не он, а Сушков, его начальник, когда Михаил Иванович подаст заявление об увольнении. И через два часа, когда Михаил Иванович сидел в его кабинете, Сушков в точности повторил эти слова, будто ему ничего не оставалось делать: «Что же вы, Михаил Иванович! Решили нас покинуть?»

4

Петя проснулся в середине ночи. На ширме свет и силуэт матери. Слышался шелест страниц.

Ты добрая. Опять читаешь какого-нибудь немца. Знаю, ты больше любишь французов, но тебе хочется быть приятной туристам. Человек из Германии спросит тебя о каком-нибудь писателе — и ты улыбнешься и скажешь, что с его произведениями знакома. И тот улыбнется, ему приятно. У того гордость и патриотизм: вот нашего писателя знают в России. А писатель-то паршивенький! Но ты читаешь их всех, потому что тот немец как раз может любить того самого писателя.

Я бы тоже, наверно, читал паршивеньких писателей, если бы водил туристов. Пусть не думают, что мы невежественные.

Ходят по улицам, как по аукциону — и себя как товар первого сорта, демонстрируют. Вообще глупо из себя всю нацию представлять. Очень глупая нация получается. А немцев не люблю. И не за отца. У меня его как будто и не было. Только гены — и вся «связь времен». Гены не убили. А ты отца любила и хочешь быть туристам приятной. Но если по правде, то я их тоже не ненавижу. А подозреваю. Подозреваю: они думают, что каждый русский должен их ненавидеть...

Греется Петя в свете лампы. Шуршат страницы. Пока мать читает паршивеньких писателей, что может измениться?

Я люблю тебя. Ты охраняла мою свободу, а я боялся опоздать в школу, потом в компании выпить. Я ругал и до сих пор ругаю себя за то, что приводил друзей в гости, ты всегда уходила ради той же моей и моих приятелей свободы. Уходила к сестре и мучалась там, потому что с сестрой вам не о чем разговаривать. Ты другая. А потом у тебя болела голова.

Как я не хотел этой свободы. Я, кажется, ни о чем не мечтал — лишь о запретах. Из-за этой свободы мне казалось, что мы живем не вместе, а только рядом: за ширмой у тебя свой дом. Чем больше свободы, тем меньше ее себе оставляешь. Запрет прекрасен. Он где-то в стороне, а ты свободен. И наверно, поэтому тебя люблю. Если не воешь с человеком, его остается только любить.

Может быть, ничего я так не хочу, как увидеть тебя старенькой, чтобы любить и жалеть, не скрываясь. И перестану бояться за тебя, как сегодня, когда ты уходила... Вот ты и вернулась! Как хорошо ты это сделала! Как легко ты обходишься со временем! Это даже страшно! Не уходи больше назад!

5

В городе не прописывали. На милицию Михаил Иванович потратил час. Говорил с майором. Высохший от деятельности и табака начальник милиции сочувствовал ему и верил, что проситель его поймет, почему в городе прописывать нельзя: «наедут», «заполнят»... — говорил это, изгибаясь в тонкой талии и округляя сумасшедшие глаза. Он надеялся, что проситель не относится к тем, кто «наезжает» и «заполняет» этот город, и подал, прощаясь, руку.

На улице в лицах встречных Михаил Иванович не увидел ничего особенного. Такие же неособенные стояли за стенами города лагерем, хотя никаких стен не было, как и не было никакого лагеря. Нашествия переменяли лицо,

не в скрипе тележном орда минует ворота городов — сходит по трапам самолетов, выходит на платформы вокзалов и спешит смешаться с аборигенами, как сделал на улице сейчас он.

В переулке, где в толпе сдавали и нанимали комнаты, Михаил Иванович встал в стороне и ждал. К нему подошла старушка.

— Вам комнату?

Она сама рассказала, что ее комната на третьем этаже, окна во двор, про отопление и том, что ее жилец должен быть одиноким и самостоятельным. Михаилу Ивановичу не пришлось ее уговаривать. Старушка уже догадалась, что он подходит ей по всем статьям.

И они пошли. Сперва добрались до гостиницы. Там Михаил Иванович взял чемодан. Потом на квартиру.

За многие годы он впервые почувствовал ненадежность своего жилища. Несколько раз прошелся по комнате, пытаясь расположить к себе поблекшие зеленые обои, картинку на кнопках, выстриженную из журнала, смутный лик иконы. Прилег на старую кровать. Стены показались наклонно-сведенными. И снова ходил по комнате, пока старушка не спросила, будет ли квартирант пить чай. Дымящийся чайник в ее руках, с которым она появилась в дверях, остановил его беспокойство. Точно такой же чайник когда-то был у него. Конечно, это не тот самый чайник, но делали их, вполне возможно, на одном заводике, эмалью покрывал один и тот же красильщик. Михаил Иванович от чая отказался и снова лег. Потом в темноте оделся, в центр отправился пешком. Юлия Владимировна на междугороднем переговорном пункте его уже ждала.

— Вы не подумайте, — сказала Юлия Владимировна, когда они на секунду коснулись пальцами друг друга, — что я хочу вернуть прошедшее...

Тотчас тронулись к выходу. Когда справились со стеклянной дверью, Михаил Иванович спросил: «Тогда почему вы пришли?»

Юлия Владимировна отстранилась, но выражение его лица не содержало ни затаенной пошлой игры, ни усмешки. Плечо Юлии Владимировны чуть двинулось под пальто — она поняла, что ощущение туннеля, которое ее не покидает при встречах с товарищем мужа, — это ее собственное любопытство, которое втягивает в его загадочный, ни на что не похожий внутренний мир, оно и привело ее сегодня на это странное свидание.

Он, поддерживая ее локоть, продолжил:

— Я могу увидеть сына Нечаева...

Слово «Нечаева» как-то пропало по своей официальной неуместности, осталось «сына», и женщине показалось — рука, которая касалась ее, была одним из тысяч аргументов, что этот человек — да, был отцом Пети, вернее, его отцом мог стать, ибо она не могла найти в себе твердой интонации сказать противное: вы никогда не могли бы стать отцом моего Пети. И в то же время — «сын Нечаева» имело как раз тот пугающий смысл: человек, который шел рядом, не знал или не помнил имя ее мужа, но это — так оказалось — значило не больше, чем то, что фамилия ее спутника была и ей неизвестна. Вся собственная жизнь предстала перед нею в горькой печали — в ней не оказалось тайн. Ее чувства — ропот и привязанности, маленькие цели и скромное честолюбие, представление о себе и других — все это не могло не быть ничтожным, если для случайно встреченного человека было неинтересным и заурядным.

От растерянности Юлия Владимировна излишне заспешила:

— Петя сейчас болен. Он — в отца, и я знаю: он — лучше меня. И кажется, взрослее. Дети всегда взрослее, но и беспомощнее. У меня, простите, бывает такое чувство, как будто мой ребенок голоден, а у меня нет молока. Будто я отвечаю и за книгу, которую он читает, и за ссоры соседей по квартире, и за то, что перегорел свет. Вы не врач? Ах да, вы геолог. Я понимаю, почему родители хотят, что-

бы дети были добрыми — они боятся, что дети станут им слишком строгими судьями. У вас есть дети?

Ее спутник сказал: нет. Юлия Владимировна улыбнулась. И продолжала улыбаться все рассеянее.

Она вдруг разом переступила какие-то запреты, какие-то мысли. Словно раздвинулись прежние границы и ушли далеко. И то, что она говорила минуту назад с болью, показалось ей важным относительно, и, главное, если бы она нашла более важным нечто другое, то и это оказалось, наверно, недостойным особого внимания, и так далее, до бесконечности, — все предстало не имеющим значения. Так и улица, с падающими иголками инея, и низкие облака, и время — пять минут десятого — все это бесконечно наивно и грустно в своей незащищенной наивности.

— Зайдемте сюда, — сказала, освободившись от руки спутника.

Вошли в ресторан. Когда оказались за столиком, Юлия Владимировна продолжала улыбаться: этому человеку все-таки придется выйти из-за кулис своих странных мыслей, где-то кончается бессмертие и начинается жизнь. Пусть объяснится, если нужно, приведет доказательства, которые были сокращены тогда в 201-м номере гостиницы. Она будет слушать так же, как она слушает оркестрик мужчин-музыкантов, снявших пиджаки.

В половине двенадцатого аккордеонист встал, и его круглая голова сказала, выглядывая из-за инструмента:

— Спокойной ночи!

Люди продолжали сидеть за столиками. Официантки стали нетерпеливыми. Юлия Владимировна с трудом взглянула на товарища мужа.

— Я сейчас рассчитаюсь, — сказал он и прошел в коридор, из которого выглядывали люди в белых спецовках.

Она вздрогнула. Позади было два часа молчания — невысказанного без задуманного намерения. Если начинала говорить — он кивал, если улыбалась, он улыбался тоже. Весь вечер они просидели рядом, но он оставил ее одну.

Она прожила целую жизнь — от ответственности за все до полного безразличия. Теперь люди в зале и сам зал с безобразными лохматыми пальмами показались ей живущими торжественно-безнадежной жизнью. «Как все глупо», — прошептала она в отчаянии. Среди зеркал вестибюля прошла левее и правее себя. В сумочке перебирала отделения — номерок был у него, но пальцы все еще чего-то искали под надзором гардеробщика.

Появился Михаил Иванович. Терпеливо поддерживал пальто, пока Юлия Владимировна, повернувшись спиной, набрасывала на шею шарф. На улицу почти выбежала. «Как все глупо», — твердила она. Шаги товарища мужа раздавались как шаги преследователя. А он словно ждал, когда она остановится. На автобусной остановке, припрятывая руки в карманы, сказал: «Спасибо вам за вечер. Я опасался: что-нибудь вдруг случится. Но ничего не случилось...» Глаза его стали прощаться: он тоже заметил автобус. Юлии Владимировне с трудом удалось оторвать взгляд от его лица, которое снова втягивало все в тот же бесконечный туннель.

6

— Петя, я должна тебе рассказать об одном человеке.

— Да, — откликнулся сын; он курил и чертил.

— *Этот человек*, — произнесла Юлия Владимировна с веселым превосходством над тем, что говорила, — считает себя твоим отцом... Фигурально, конечно.

Петя обернулся.

— Как?! — Но тотчас успокоил себя: — Я тебе не говорил о том, что случалось раньше. Иду и вижу: вот мой отец! На заводе и сейчас такой есть. В модельном цехе. У меня такое ощущение, что и он знает, что я его сын. Но это прошло. — Подумал: — Да, да, прошло. Кто этот человек?

— Тот... который звонил.

Они замолчали и почему-то вместе посмотрели на окно.
Петя сидел лицом к матери.

— Что ему нужно? Зачем он тебе об этом говорит?

— Я сама хотела бы это понять...

— Но ты объяснила ему, что это его самообман. Ведь ложь!

— Это странный, одинокий и, возможно, несчастный человек. Ему нельзя отказать в сочувствии.

— Мама, пожалуйста, не огорчай меня. Ты забываешь папу...

— Петя, молчи!

— Это какой-то кошмар! Вдруг я обнаруживаю в жизни тысячи отцов, а ты киваешь: да они все твои отцы. Тогда у меня нет матери!

— Петя!

Петя отвернулся.

— Я не думала, что ты примешь это всерьез, — мирно проговорила Юлия Владимировна. — Ты должен был отнестись иначе — один из людей думает вот так. Вот и все. Он много лет прожил на севере. Был момент, когда я думала, что он мелкий авантюрист, вернее... артист, любящий импровизированные спектакли, но сейчас ничего не понимаю. Я даже не совсем уверена, болен он или здоров. Может быть, у него всего одна мысль: будто он бессмертен.

— Бессмертен! — Петя встал.

— Прямо он мне так не сказал. Может быть, и мысли у него подобной нет — есть чувство, он чувствует себя бессмертным. Таким он видит себя. Ты можешь себе представить!

— Он знал отца?

— Да. Он сказал, что папу убили на переправе.

Петя усмехнулся.

— Я, наверно, глупо тебе все пересказала?

— Нет, нет, я совсем не об этом...

Петя посмотрел на часы. Юлия Владимировна ушла за ширму.— Пусть он к нам придет, — сказал Петр.

За ширмой долго не слышался шорох страниц.

7

Петр проснулся и понял: он — здоров. Вспомнил, что, засыпая, принял какое-то решение, но какое — предстояло вспомнить. Решения принимались на работе или относительно работы, и он стал собираться на завод, хотя бюллетень позволял остаться дома.

На кухне сказал соседям «здрaсте», окунул лицо в водопроводную струю. Вода шумела, и слова о гриппе, погоде, вчерашней телевизионной программе, казалось, текли из крана вместе с водой.

Перед зеркалом растирал лоб и щеки — вверх-вниз и по кругу. Но что-то не стиралось, и он увидел, что его лицо постарело — стало неприятным, словно обознался и теперь созерцал свою ошибку. Но мысль о том, что он стал старше, удовлетворила его, ибо в то время, как он отвечал за рационализаторскую работу большого завода... — и тут ему виделись люди, приходящие в отдел, ожидающие его совета, разыскивающие в цехах, в то время, как он... — и тут представлялись его статьи по автоматике, математическому анализу и пр... в то время, как он... — и вспомнил женщину, с которой еще не начался роман, но он и она уже свыкаются с мыслью о его неизбежности — он оставался неубедительно юным. Однажды в плохом настроении сочинил себе некролог, начинавшийся так: «После долгих лет большой и плодотворной жизни наконец-то умер молодой талантливый инженер Петр Станиславович Нечаев».

Но вот лицо сдалось: постарело. Выделился рот, а не губы, нос, а не глаза, они ушли вглубь, как уходят в подъезд люди. Заматерел.

О своем отложенном намерении Петр вспомнил в автобусе — и показалось, он едет одновременно в двух направлениях — что-то сделать на заводе и подумать о том, что вчера услышал от матери. Разве не абсурд специально приехать на завод думать о бессмертии!

Из всех слов, которыми пользуется человечество, слово «бессмертие», может быть, самое бессмысленное, самое фантастическое. Потому что не существовало ничего такого, к чему его можно было приложить. То, что называют вечным, — имена великих людей и могучие империи, Землю, Солнце, скрытое в это утро за облаками, — всё и всех ожидал конец, погребение в хаосе вселенной. Судьбы Земли и Солнца в этом ничем не отличаются от человеческих. Все му вынесен приговор: одним обозначен срок жизни шестьдесят—семьдесят лет, другим — шестьдесят-семьдесят триллионов, но место для бессмертия не оставлено. Все это доказано, рассчитано, и только блаженный безумец может бредить своим бессмертием.

По утрам в комнате соседа скрипит паркет. Это Анатолий Зиновьевич делает упражнения. На газе под крышкой готовит еду с таинственными запахами, он знает какие-то чудотворные составы. Из ванной, окатив себя холодной водой, выходит с победоносным видом. Это понятно. Анатолий Зиновьевич, старый библиотекарь, борется со старостью. Но все приговорены. Это разумеется само собой. «Но, принимая во внимание...» — развлекся Петр...

Он вспомнил выездную сессию суда. Судили агента по снабжению, который воровал у завода гвозди и доски, лампочки и рубероид. Суд был показательный, и все знали, что наказание будет на всю железку. Но, когда судья, читая приговор, дошел до слов: «но принимая во внимание...», глаза подсудимого подпрыгнули. На миг всем показалось, все заявленное прокурором и подтвержденное свидетелями к делу не шло. И помимо украденных гвоздей и рубероида, есть другое измерение жизни человека, говорящего с провинциальным акцентом. Но так только показалось...

«Принимая во внимание...» — думал Петр, — маленькая лазейка для большой надежды. Приговор известен, но «принимая во внимание», что солнце еще всходит, а Земля вращается, а ты живешь, можно лечить зубы, язву желудка, систематизировать половую жизнь. И все мы живем так или иначе внутри этого момента — пока судья произносит «принимая во внимание».

Имеет смысл только то, что можно измерить масштабом человеческой жизни. Если человек хочет строить, ему нужно дать кирпич и цемент. Человеку нужно дать возможность увидеть к старости свою постройку законченной. И так во всем. То, что выходит за этот масштаб, по отношению к человеку жестоко.

Петя прошел мимо вахтера, поднялся на второй этаж и объявился перед инженером Колчиным. Не снимая пальто по праву больного, сел за стол, открыл папку с надписью «Последние поступления».

— Он или т о г о, или лукавый Ходжа Насреддин, — проговорил Петр, читая рацпредложение, поступившее от одного вахтера. Автор предлагал во втором цехе снять металлические ворота и сдать их в утиль.

— Ты о воротах? — откликнулся Колчин, готовый говорить и о Насреддине, и о фантазиях сторожей, страдающих от безделья, лишь бы не крутить арифмометр, не скучать в тесной комнатухе с окнами на широкую реку.

— Нет. Просто так, — Петя захлопнул папку и встал. Надо сбить инерцию вопросов и отвести коллегу от следа. Стоит Колчину спросить: «Что-нибудь случилось?», и не удержится — начнет рассказывать о звонке странного человека, знавшего отца, о матери, о бессмертии, которое поглощает мысли, как болото, захочется что-нибудь прочесть об этом — и все для того, чтобы аргументированно ответить, что это бред, еще более бессмысленный, чем озарения вахтера относительно металлических ворот цеха, которые он обязан охранять. Начнет говорить — и снимет пальто, накурят целую комнату, а внутри лишь станет пус-

то, а главное — они по-прежнему будут перекидываться спичками и вместе обедать, но, когда под столом их ноги коснутся друг друга, каждый отдернет свою.

— Зайду к главному, — сказал Петр и вышел.

Но к главному инженеру не пошел. В коридоре миновал его кабинет и снова оказался на улице.

8

Он был на другом конце длинного зала, выложенного красными и белыми плитками. Юлия Владимировна пошла, стараясь почему-то попадать на белые. В зале застоялось ожидание: лица подняты к потолку: так слушают в лесу порывы ветра. Репродукторы объявляли вызовы — люди уходили в кабины, напоминающие что-то медицинское. Она могла бы вспомнить чем. Толстые, оплетенные в металлическую сетку провода походили на донорские шланги. В войну она не раз ложилась на стол с засученным рукавом и даже потом болела донорской болезнью — чувством, что кровь у тебя лишняя и нужно освободиться от ее шума и ее самостоятельной жизни.

Но шланг здесь подсоединялся к уху-рту, и что-то циркулировало, и люди смеялись, взмахивали руками, другие гнулись над трубками с вопросительными морщинами.

Юлия Владимировна улыбалась необычной для себя формальной улыбкой. Но трудно было не смягчиться, когда он встал навстречу. Взяла его руку, смутно прозревающего что-то, и повела мимо кабин по шахматному полю снова к выходу. Не держала, но вела.

На улице пошла быстрее, автобус в уме торопила. На лестнице дома воздуха не хватало. Он шел ниже. Этот человек знал, куда идет и кого встретит. С ним поступали честно.

В прихожей Михаил Иванович окинул отставшие обои, велосипед и детскую ванную, подвешенные на гвоздях. Его рассеянность прошла. Пальто заняло место на вешалке, платок перекочевал в карман пиджака. Сказал:

— У вас в квартире живут военные.

Это о шинели на вешалке. Похоже, что здесь ему пришлось как-то. Одернув пиджак, взглянул на Юлию Владимировну так, что в этом взгляде присутствовали и он, и она, и будто бы они готовы.

— Дома? — спросил он, трогаясь с места.

— Входите!

Но Юлия Владимировна заколебалась, потом улыбка, приобретенная ею на переговорной станции, разделила их, и он должен был войти первый.

9

Ответив незнакомцу, Петя шагнул к матери, как-то не совсем закрыв рот после «здрассте», но встретил улыбку стороннюю; с этой улыбкой она ушла на кухню готовить тосты и кофе. Каждый остался один: и товарищ отца, не спеша переступающий вдоль стены, — он рассматривал книжные полки и фотографии, и мать, возвращающаяся и уходящая, теперь без улыбки, какая-то чужая, и Петя. Он молча снял ватман с чертежной доски и укладывал в стопку эскизы. Ему почему-то не хотелось бы, чтобы из окон дома напротив сейчас кто-нибудь видел их комнату.

Михаил Иванович, почувствовав сопротивление в доме Нечаевых, и подумал: это болезнь. Врачи говорят: стресс, бессонница, невроз и другое — и не видят пружину. Наивные люди сопротивляются, они не принимают течение жизни — и получают болезнь. Надо отдаться тому, что называется законом, «заведенным» порядком, круговоротом природы — «бессмертному круговороту», — так вернее можно сказать! Нет начала и нет конца. И всё всегда есть. Я пришел, молодой человек, я здесь, — и не мучайте себя: «Ах, если бы все было не так, ах, если бы люди были другие?..» И — больны.

На вокзалах диваны с инициалами: МПС — Министерство путей сообщения. Если посмотреть на поддон дивана,

на котором вы спите, то там найдете клеймо фабрики, где изготовлены тысячи и миллионы таких диванов, так и под воротом вашей рубашки и пиджака — так на всем. Но можно обмануть себя, сказать: другого такого дивана нет, и рубашка единственная, и день единственный. «Был исключительный день». И снова болезнь и суета. Всего много. Мир состоит из одинаковых вещей. Все люди — близнецы. Михаил Иванович переместился вдоль книжной полки. «Технология металлов», «Математический анализ», «Пушкин», календарь фабрики «Сокол» и дальше: шнур к штепселю, подушечка с иголками, окно на улицу. Сотни окон смотрели в темноту. Михаил Иванович любил высоту. На секунду остановился, чтобы убедиться — машины кажутся, люди идут, ветер раскачивает фонари.

Во всем движение. И это обманывает... Я обратил внимание на ступеньки вашего дома, — он, наверно, очень старый?... Я подумал, сколько наших товарищей с разными мыслями и заботами пользовались этой лестницей. И вот я — стал одним из них.

Михаил Иванович говорил вполголоса, не оборачиваясь, будто сам с собой. Так, наверно, и было. Он просто не заметил, как стал размышлять вслух.

Петя мог связать значения лишь отдельных слов, но интонация голоса гостя подчиняла себе. Он ожидал встречи с несчастным шизофреником или с легкомысленным фантазером, а пришел философ и проповедник с голосом не то из другого времени, когда Пети еще не было, не то из будущего, когда его не будет.

Гость умолк. Он остановился у картины — единственной работы отца, пережившей войну.

На картинке: кривой проулок и лиловые искривленные дома, казалось, кривились от тесноты и тянулись к небу — близкому и темному; и такой же темнотой зияли окна домов. Михаил Иванович никогда не видел таких домов и такой оголенной пустоты в городе. Что-то подстерегающее было в ней. Смотрел и ждал: брось камень в воду — и, как

бы ни были далеки берега, — волны послушно придут к ним. Никуда не уйти от простоты смысла жизни.

Михаил Иванович все еще был там — возле картины, когда Юлия Владимировна внесла кофейник и сухарики. Отвязала передник, на блюдцах звякнули ложечки — предупреждали мужчин: вы хотели встретиться — так не медлите. Она знала, что встреча еще не произошла.

10

— Вы сказали маме, — начал Петя, как только гость перенес к себе на блюдце сухарик, — что мой отец погиб на переправе.

— Да, — отозвался товарищ отца.

Взгляды их встретились. Петя хотел на что-то опереться — на сочувствие или хотя бы на внимание. Пусть у незнакомца одно лишь любопытство к сыну его фронтового товарища. И такое можно понять: прошло двадцать лет. Но почувствовал, гость остается где-то там, далеко, — может быть, то место он и называет бессмертием. И потому, возможно, Петру придется отвечать самому себе на собственные вопросы. Рядом была мать, настороженная, с намеренно опущенными глазами. Петр попросил у нее извинения взглядом и хотел надеяться, что она его взгляд заметила.

— Расскажите — для меня это важно, — как убили моего отца! Нам пришла только «похоронка» — так ее, кажется, называли. Там было написано... Ну, знаете, как там писали — несколько слов, и я, можно сказать, всю жизнь сам придумывал, как папу убили. Будучи мальчиком с воображением, я убил его тысячу, десять тысяч раз. Мой отец сбивал самолеты, захватывал танки, взрывал мосты, но, в конце концов, его все-таки убивали. Я представлял, как его окружают фашисты. Он убил одну сотню, пять сотен... Иногда я целую ночь видел, как он стрелял из пулемета, я заставлял целую армию подносить ему патроны,

чтобы он мог стрелять и стрелять, но под утро его все равно убивали. Он ночью пробирался к немцам и убивал их ножом, но враги просыпались. Он все-таки должен был сделать ошибку, чтобы его могли убить. Я читал книги и смотрел фильмы про войну лишь для того, чтобы придумать — как говорят следователи — еще одну версию смерти... Я хочу знать, как он был убит и где, чтобы не убивать его снова... Расскажите, как все было. Пусть самым глупым образом.

Мать не шевельнулась; гость поднял глаза к потолку.

— Название реки забыл... Не глупо — обыкновенно все случилось... должно быть...

— На берегу, в воде, на мосту... вы можете вспомнить? Что вы помните?

Усилие прошло по лицу гостя. Его ладонь легла на стол, рядом с рукой Юлии Владимировны. Петр скривил губы, двинул стулом. Смотрел в лицо человеку и знал, что должен войти в эту застывшую, удовлетворенную собой рассеянность.

— На ступенях лестниц, согласен, остаются человеческие следы... Я вас спрашиваю о моем отце. Вы сами напомнили о нем. Зачем тогда вы это сделали?..

Кофе исходил паром, неподвижно сидела мать, Петя отхлебывал кофе и клонился над столом к товарищу отца.

Зачем они просят меня вернуться назад, — пожаловался себе Михаил Иванович. — Чтобы потеряться среди миллионов фактов и различить один, микроскопически малый! Вспомнить один из карманов солдатских гимнастеров, тот, в котором лежала фотография женщины, которую не мог забыть, смотревшую куда-то в никуда и на каждого, кто заглянет на нее из-за плеча рядового Нечаева. От него требуют, чтобы он вернулся в то холодное утро, увидеть людей, дремавших там и тут на дне окопа, услышать разговор командиров за дверью землянки и различить в сумраке рассвета спину мужа этой женщины, кругловатую, упрямую, но не сильную.

— Я постараюсь, — виновато сказал гость, — хотя... что это может изменить. — И посмотрел на Юлию Владимировну. — Утром... Форсировали реку. У каждого свое. У меня доска, у других бревно, скамейка, у Нечаева была, кажется, калитка. Растащили деревню. Да, было так, потому что помню, когда шли к реке, было смешно. И над калиткой смеялись. Или кто-то смеялся.

— Это невозможно, — прошептала Юлия Владимировна.

— Нет, калитку я помню... И вашего отца — по походке.

— Какая? — остановил гостя Петя.

— Он плохо ходил в строю. Руки перемешивались, правая рука — правая нога. У реки кусты, трясина, туман... Больше я его не видел.

— Подумайте. Хотите, мы оставим вас одного. Ведь вы были с отцом вместе.

Мать и сын повернулись друг к другу.

Гость трогал пальцами щеки, брови. Наконец товарищ отца проговорил:

— ...Он был справа, потом я видел калитку впереди. Было еще тихо, и мы плыли... Тумана на середине не было.

— Что значит, на середине не было тумана?

— На середине они нас заметили и стали стрелять...

— Дальше, — торопил Петя. С каждым словом таяли мифы: ни пулеметов, ни самолетов, ни танков — просто отец плывет на садовой калитке к другому берегу. И человек этот сейчас его видит.

— К нему пристрелялись. Он очень плескался. Может быть, калитка была тяжелая. Или они считали, что это не калитка.

Гость откинулся на спинку стула, рука, неподвижная и немолодая, продолжала лежать рядом с локтем Юлии Владимировны.

— Я не знаю, — сказал он тихо, — может быть, его задело. Он обернулся...

— Он хотел что-то сказать?

— Он ничего не сказал, ни-че-го — и пропал. — Рука человека сжалась в кулак и остановила Петю. — Калитка проплыла мимо меня пустой. Никого на ней не было. Я больше Нечаева не видел.

— Вы сказали, извините, не все, — Петя поднялся и встал за спинку своего стула. — Может быть, мой отец посмотрел на вас героически, или жалобно?..

— Петя, я не могу больше! — Теперь только гость оставался за столом. Юлия Владимировна отыскивала платок. — Прекратите!

— Нет, мама, я хочу знать все, до конца. Я не хочу изобретать последние взгляды отца. Я их могу за ночь сочинить сотни: и наполеоновские, и жертвенные, прощальные и призывные, презрительные и высокомерные, просто трусливые. Это, может быть, мой последний вопрос: скажите, как? В наше время не пишут завещаний, но я хочу знать, как посмотрел отец в последний раз на этот мир. Может быть, он хотел что-нибудь увидеть. Что он искал позади себя? Говорите!

Тут Михаил Иванович слегка колыхнулся на стуле.

— Ваш отец, извините, посмотрел так, как сейчас я смотрю на вас...

Юлия Владимировна отложила платок, подошла к сыну, чтобы вместе с ним увидеть, каким был последний взгляд Станислава Нечаева. Она увидела то же выражение лица, которое было у этого человека в гостинице, — вот сейчас этот человек крикнет и войдет ее муж — и напрасное ожидание остановило ее дыхание. Но теперь надежд не было. Ревность памяти предстала ошибкой. Какое значение имеет память о том, что можно разыграть, как роль в театре. Станислав Нечаев ожил только для того, чтобы поплыть поперек течения неизвестной реки на нелепой садовой калитке и исчезнуть, уже навсегда, оглянувшись вот так, как смотрит этот человек.

— Я пойду, — сказал гость.

До этих слов, произнесенных у остывшего кофейника, прошел час, а может, больше. Петя уткнулся лицом в подушку на диване, Юлия Владимировна поглаживала его плечо. Как она могла оставить Петю одного!.. Но что-то говорило ей: она права и даже ждала, когда может поступить вот так, — доверить ему самому разрешать задачи, касающиеся судьбы их двоих. Под рукой вздрагивало тело не сына, но мужчины. И ни одной мыслью не обвинила товарища мужа.

Самое необъяснимое было не в том, что этот человек проник в самую глубину ее жизни, а теперь — и сына, и произошло это вторжение как-то сразу, за какие-нибудь ничтожные часы, а в том, что она вдруг перестала понимать, кто она, и что от себя может ждать, и как освободиться от этого любопытства к самой себе — назойливого и бесплодного. Вот и сейчас то думалось, что предельно устала, и многое отдала бы за возвращение к тихим обыденным дням, то будто бы подготовилась к важному повороту в своей жизни, которого не избежать.

Гость стоит и молчит, сейчас он покинет их дом, и день за днем все связанное с его загадочным вхождением в их с сыном жизнь, если не забудется, то станет тем архивом, в который сперва никто не заглядывает, а потом от него избавляются.

— Я пойду, — повторил человек.

Петя поднялся, отер щеки, его слегка пошатывало.

— Посидите, пожалуйста. — Петя не сразу занял свой стул, склонив голову, прошел комнату из конца в конец.

— Простите мою слабость... Я поверил всему, что вы сказали. — Ласково посмотрел на густенькие брови товарища отца, его рубашку с незаметным галстуком. В глаза не смотрел, там ничего нельзя было увидеть. Закрыв лицо ладонями, спросил: — А почему остались живы вы? — И

тотчас раздвинул ладони. Все время он ждал, что с человеком вдруг что-нибудь произойдет, что слова заденут в нем что-то понятное и живое, но Петя не хотел, чтобы он ожил от боли...

— Вы не обижайтесь! Я рад, искренне говорю, что вы пришли к нам. Теперь мой отец будет спокоен. Я спрашиваю вас, если хотите, отвлеченно, чем, интересно, объясняете вы сами себе, что многие, в том числе и мой отец, погибли, а вы живы. Наверно, это была не последняя переправа? Бывают ведь такие обоснования — вам просто, может быть, везло или отец и другие сделали ошибку, и вы вот как-то мимо ее...

— Погибли?.. — с сомнением повторил гость. — Но разве вы не встречали отца на улицах...

— Мама! — крикнул Петр, пораженный, — он все знает!..

— Не проходит ли он мимо вас? Вы сказали «отвлеченно», но то, что я говорю, не отвлечение. Меня не было в вашем городе, но я был и здесь — я это знаю. Хозяйка, у которой я снял комнату, меня сразу признала. И вы есть там, где вас нет. Вы, молодой человек, умны и поймете, не сейчас — так позднее: все бесконечно повторяется.

— Но и солнце смертно, — тихо произнес Петя.

— Нет, и солнце бессмертно, все бессмертно. Я думал о солнце на севере. Оно останется, если даже станет черным. Если вы уронили зеркало, разве его уже больше нет? Оно есть, разве его осколки не отражают мир? Одни геологи у нас играют в карты, другие в домино, но это, вы понимаете, одно и то же. И война останется, будут армии или нет, только у нее будет другое лицо. Мы даже перестанем узнавать ее. Солдатская каска на поле — это просто. Я видел такую фотографию в журнале. Есть только время, а вы, молодой человек, думаете, есть только лица. Философы придумывают временам названия. Я не читал философов, но они должны знать о вечности времени. В больших городах есть абстрактные художники. Я бы хотел купить

абстрактную картину — какую-нибудь. Я не видел их, но знаю, там должно быть *время*. Вы бессмертны, молодой человек, как и я, но люди живут, как смертные, и поэтому мучаются. Ваша мать все понимает, когда я увидел ее фотографию двадцать лет назад, может быть, тогда все и понял...

Юлия Владимировна побледнела.

— Пора расходиться, — прошептала она, — уже поздно.

12

... Там была очередь — очередь одних женщин. И женщина в черном служебном халате фотографировала их... Юлия Владимировна вспомнила тесное душное ателье провинциального городка, переполненного эвакуированным людом, когда вдруг испугалась слов гостя и отошла к окну. Только теперь, ей показалось, она стала понимать смысл появления странного человека в ее жизни.

Там, в ателье, женщины оказывались на стуле перед жаркими лампами и волновались: линзы фотоаппарата были глазами их мужей — начиналось свидание с ними, перед которым они так спешно и жалко оправлялись. Она не выдержала бы — ушла, если бы фотограф не позвала ее занять место на стуле. Юлии Владимировне тогда представилось, что в тот момент, когда ей говорили: «Чуть выше подбородок, головку немного вправо», — Станислава уже нет в живых или скоро его не станет.

Сегодня она узнала, что фотографию Станислав получил, теперь она знала, что убила мужа не фотография, а что-то там на переправе, то, что нельзя было остановить, как очередь в ателье, которая приближала ее к выпуклому стеклу объектива. Но подозрение, мелькнувшее в ней, осталось. Подозрение нелепое, но в то же время она не нашла в себе сил ему сопротивляться. Уже тогда, в ателье, ей почудилось, что фотографируется уже не для мужа, а для будущего, для кого-то другого, и как оказалось, для сидящего сейчас в ее комнате зловещего человека.

У окна, в углу, в тени занавесок теперь она смотрит на него со стороны объектива и теперь знает, что *выпуклость* — огромное застывшее напряжение. Она хотела крикнуть: «Петя, иди скорее сюда!» Она хотела, чтобы между сыном и гостем было расстояние. Здесь в углу защищеннее, тут они будут вдвоем. Но ужас лишил ее сил.

Она видела, как ее Петя, ее доверчивый мальчик, кивает головой и, слушая стал, как гость, вскидывать голову и что-то там ловить в страшном абсурде, где убитые смешались с живыми, а убийц не отличить от жертв, а сыновья учатся забывать и прощать.

Какое-то согласие возникло между страшным человеком и ее сыном. Может быть, правду говорит этот человек: никуда не уйдешь от слепого времени, которое ничего и никого не различает, плетет паутину, из которой не вырваться. И туристы, эти немцы, стаей идущие в Эрмитаж, тоже опутаны этой паутиной, а она и они, женщины, старательно одевающиеся, целующие при встрече друг друга в щечку, — лишь робкое охранение, чтобы туристы не вырезали картины из рам, не вытаскивали амулеты скифских цариц из-под стекла и не разбивали статуи героев, которые им не понравились. Все рассказы экскурсоводов на изысканном чужом языке о Возрождении и Декадансе, светотнях и деталях и о жизни тех, кто это породил, — лишь тонкие уговаривания не ломать, не бить, не тащить... А на переправах стреляют в лучших.

Она услышала смех Пети. Он прикрыл рот рукой, а потом встал и все-таки рассмеялся во весь голос... Он проходил мимо Юлии Владимировны совсем близко, но не останавливался и снова шел по кругу. Он хотел сказать какое-то слово, но, как только губы складывались произнести первый слог, смех разводил их. Как он был красив, ее сын. Он мог бы очень весело уговаривать не тащить и не ломать...

— Это, помилуйте, уже не солнце, — наконец сказал Петя, — как вы могли запутаться в такой пустяковой задачке.

— Это солнце.

— Я не стану вас уговаривать. Между вашим солнцем и вашим бессмертием я даже готов поставить знак равенства, точнее, вот этот знак, — Петя достал ручку и на бумажной салфетке написал аккуратно: «=». — Я готов поставить такой значок. Но как вам понравится, если этот значок появится между негодяем и невинным человеком. И я не уверен, что вам это не понравится, потому что сейчас вы чем-то ослеплены. А может быть, и не ослеплены, а просто слишком заняты собой... Так, значит, убитые и неубитые — какая разница? Так? Между прочим, извините, как вас зовут? Юлия Владимировна нас друг другу не представила.

Товарищ отца оглянулся по сторонам и осторожно сказал:

— Михаил Иванович.

— А я — вы ведь тоже не знаете, как меня зовут, — Петр Станиславович. Отца, между прочим, Михаил Иванович, мне кажется, убили обоснованно, со всеми юридическими тонкостями. Представьте, — Петя опустил локоть на стол... — Да вы все знаете! — тотчас поднялся с горечью. — Ну, хорошо, вот вам!.. Вы сидите не на *этом*, а на *том* берегу. И вы пулеметчик. А там плывут, там тысячи и миллионы... кого вы берете на мушку, — не всех, всех сразу нельзя — одного, кто плывет впереди, пусть на миллиметр, на микрон, или не так, как все. Михаил Иванович, вы убьете единственного. Многих плывущих позади тоже не будет, но все-таки кто-то останется, если останется хоть кто-нибудь. И вот один из них что может сказать? Он может сказать, убитые — неубитые, — какая разница! Что-то о диктатуре неразличимых лиц. Если погаснет солнце, оно все равно солнце. Так, понимаете, можно договориться до любой чертовщины... Я не хочу нас обвинять. Самое больное — этот закон пулеметов... Я знаю, каким был последний взгляд у моего отца: у него глаза были полны пуль...

Юлия Владимировна заплакала. Она опустилась на подоконник, прижалась к занавеске лицом. Она не могла больше ничего видеть, слышать, знать.

— А вы, Михаил Иванович, не бессмертны. Нет, дорогой! — Петр вышел из комнаты и вернулся с пальто и шапкой гостя. — Вы, Михаил Иванович, убиты. У вас ничего не болит — значит, не существуете. Как это вы сумели себя?.. А мама понимает бессмертие — это верно. И отец мой жив, во мне, в маме, в этой картинке, кстати сказать, не совсем удачной. Он жив, потому что он, неуклюжий человек, школьный учитель рисования и черчения, плыл впереди и, значит, за всех. Хорошо, что вы пришли. Я теперь знаю, кто мой отец. А то, в самом деле, запутаться можно. И как можно без лица! Вот вы, можно сказать, пришли по фотографии Юлии Владимировны.

Петр знал, какую фразу скажет гостю вслед. Он скажет: «Когда видят беззащитную женщину, одним хочется ее защитить, другим ее беззащитностью воспользоваться». Пусть Михаил Иваныч выберет то, что ему подходит. Но, открывая дверь из квартиры на лестницу, Петр испытал что-то вроде признательности к этому человеку за то, что тот, наконец, покидает их дом и уходит из их жизни навсегда.

Оказалось, на лестнице свет не горит. Жилец из соседней квартиры стоял со свечкой, ругая жилконтору, монтажников, хулиганье, мировой бардак.

— Подождите, я принесу вам хотя бы спички, — сказал Петр гостю.

— Нет-нет! — решительно отказался Михаил Иванович. Взялся за перила и стал спускаться, что-то бормоча в темноту.

— Не упадите, перед выходом одна ступенька вверх.

— Я-то не упаду.. — послышалось снизу. — Вы слышите?.. Вы слышите! Я-то не упаду..

ОБ АВТОРЕ И КНИГЕ

(От составителя)

Борис Иванович Иванов родился 25 февраля 1928 года в Ленинграде. Отец — рабочий, погиб на фронте; мать — официантка, повар, продавец. После первой блокадной зимы был эвакуирован; окончил ремесленное училище в Ташкенте. В 1944-м вернулся в Ленинград. Работал токарем и учился в вечерней школе. В 1947—1948 гг. работал буровым мастером на Кольском полуострове. В 1948—1953 гг. служил в армии; окончил сержантские и офицерские курсы и завершил школьное образование, вступил в КПСС. В 1953-м — студент отделения журналистики филфака Ленинградского университета. По окончании ЛГУ (1958) работал сотрудником газеты «Псковская правда», заместителем редактора газеты Опочецкого района, работал в заводских и вузовских многотиражках Ленинграда.

Работая в г. Опочка, писатель общался с участниками партизанского и подпольного движения в годы оккупации Псковщины. Здесь он встретил летчика, который позднее стал прообразом главного героя его повести «До свидания, товарищи!» Повесть «Матвей и Отто» также основана на рассказах очевидцев о трагической истории дружбы жителя Опочки и немецкого шофера.

В книгу «Жатва жертв» (I том настоящего издания) вошел также цикл рассказов «Белый город», в большой степени автобиографических, которые в литературе, посвященной блокадной зиме 1941—1942 гг., — займут особое место. Это правдивое описание мучительной гибели целых семей и населения целого города. Такие рассказы, как «Бедный Кнок», «Ich liebe dich», — реконструкции действительных ситуаций, в которые война ставила людей. И немцы, и русские, втянутые в шестеренки войны, оказываются в какой-то момент наедине со своей совестью и разумом, которые протестуют против ее бесчеловечности

и бессмыслицы. Авторская задача — пройти со своими персонажами этот путь.

Вернемся к биографии Бориса Иванова. Его литературный дебют как советского писателя был вполне успешным. В 1965 году опубликована его книга рассказов. Давид Дар — руководитель популярного в городе Литературного объединения — призывает молодых писателей учиться писать у Иванова. Михаил Слонимский, другой представитель старшего поколения писателей, говорил, что в ЛИТО, которое он вел, самые талантливые прозаики — Андрей Битов и Борис Иванов. Казалось бы, у него есть все возможности свой успех развить, готовить публикацию новых вещей и вступить в Союз писателей. Но было два момента, изменивших его судьбу.

Первый — произведения, которые были им к 1965 году написаны, относились к «непечатным», второй — он видел, что в положении «непечатных» находятся лучшие произведения многих его талантливых коллег: Рида Грачева, Бориса Вахтина, Андрея Битова, Игоря Ефимова, Олега Базунова, Олега Григорьева, Александра Степанова и других. Надежды на благополучную карьеру были похоронены раз и навсегда, когда в 1968-м он стал автором коллективного письма с протестом против осуждения А. Гинзбурга, Ю. Галанского и других за публикацию «Белой книги», посвященной процессу над писателями Ю. Даниэлем и А. Синявским.

Последовали санкции: исключение из партии, увольнение с работы. Далее работает шкипером на шаланде, электротехником по лифтам, сторожем, оператором газовых котельных и связывает творческую биографию с неофициальной культурой — средой независимых литераторов, художников, философов. А это значило — участвовать в дискуссиях кружков, выступать с докладами на собраниях полуподпольного религиозно-философского семинара.

В 1976 году начался новый период в биографии. Иванов приступает к изданию «толстого» самиздатского жур-

нала «Часы», которому было сужено побить все рекорды самиздатской периодической печати страны. Журнал стал органом независимого культурного движения Петербурга, в нем из номера в номер публиковались проза, стихи, критические статьи, переводы и т.д., обзоры художественных выставок андеграунда, хроника движения.

Иванов — инициатор создания и организатор первого в стране литературного объединения неподцензурных литераторов «Клуб-81», который помимо секций прозы, поэзии, критики, включал экспериментальную театральную и музыкальную студии. В середине 1980-х годов члены клуба выпускали восемь самиздатских машинописных журналов, три из которых — сатирический «Красный щедринец» и общественно-политический «Демократия и мы» (помимо «Часов») — он издавал сам.

После отказа властей опубликовать сборник произведений членов клуба «Круг-2» (первый издан в 1985 году) Иванов пришел к выводу, что без изменения политического строя в стране надежды на свободу слова и печати останутся иллюзиями. «Клуб-81» становится местом, где собираются многочисленные группы культурной и политической оппозиции. Иванов входит в инициативную группу по созданию «Ленинградского народного фронта», организует проведение первого в истории Ленинграда (после 1927 года) массового шествия и митинга в поддержку демократических преобразований, пишет листовки и выпускает бюллетень организации.

Все редактируемые Ивановым журналы прекратили существование в 1990 году, когда их издатель посчитал, что главная задача его жизни выполнена: был принят закон, провозгласивший свободу слова и отмену цензуры.

В 1990-е и в начале 2000-х годов Иванов участвует в организации конференций и постоянного семинара, посвященных истории ленинградской неподцензурной литературы, является редактором и автором книг «История ленинградской неподцензурной литературы (СПб, 2000 год),

становится автором проекта и составителем трехтомника серии «Коллекция: петербургская проза (Ленинградский период). 1960—1980-е годы». Лауреат премии Андрея Белого в номинации «критика» и премий журнала «Знамя» и «Новый мир» за повесть «Ночь длинна и тиха, пастырь режет овец» (1984 год).

СОДЕРЖАНИЕ

БЕЛЫЙ ГОРОД

ВСТУПЛЕНИЕ	7
МАЛЬЧИШКИ И ВОЙНА	9
ПОТЕРЯ БЕССМЕРТИЯ	11
ПОСЛЕДНИЙ УРОК	15
ТАРЕЛКА СУПА	23
ВИЗИТ ИНЖЕНЕРА БАРАННИКОВА	30
МИЛАЯ БАБУШКА	35
ЧЕЛОВЕК УХОДИТ	37
ГОСТЬ ОТТУДА	40
КАРТОЧКИ НА МАРТ	43
ВРАГИ	50
ЖЕНЩИНЫ	50
ВЕСНОЙ	56
БЕЗ ОЧЕРЕДИ	60
В СТАЦИОНАРЕ	63
ТРАМВАИ ПОШЛИ	67
КСЕНИЯ МАРКОВНА	69
ЭПИЛОГ	89
ДО СВИДАНИЯ, ТОВАРИЩИ! <i>Повесть</i>	93
БЕДНЫЙ КНОК	152
МАТВЕЙ И ОТТО	163
ICH LIEBE DICH	192
ВЕРНИТЕ АИСТУ ПЕРЬЯ	213
УБИТ НА ПЕРЕПРАВЕ	231
ОБ АВТОРЕ И КНИГЕ (<i>От составителя</i>)	261

Борис Иванович Иванов

Сочинения: т. 1

Жатва жертв

Дизайнер Т. Ларина

Редактор Б. Рогинский

Корректоры И. Аветисова, Л. Бармина

Верстка С. Петров

Налоговая льгота — общероссийский
классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

ООО «Новое литературное обозрение»

Адрес редакции:

129626, Москва, И-626, а/я 55

Тел.: (495) 976-47-88

факс: 977-08-28

e-mail: real@nlo.magazine.ru

Интернет: <http://www.nlobooks.ru>

Формат 84x108^{1/32}

Бумага офсетная № 1

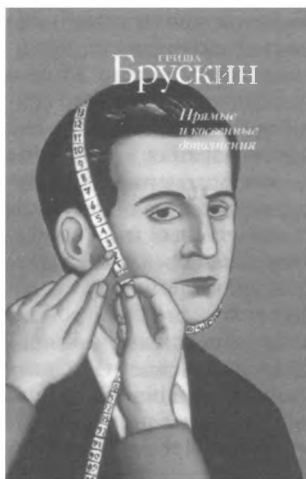
Печ. л. 8,5. Тираж 1000. Заказ № 42

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати».
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

Издательство
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
В 2008 г. вышли:

«Художественная серия»

Гриша Брускин
ПРЯМЫЕ И КОСВЕННЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ



Гриша (Григорий Давидович) Брускин (р. 1945) — известный художник и писатель. В 2001 году издательство «Новое литературное обозрение» опубликовало книгу Гриши Брускина «Прошедшее время несовершенного вида» — коллекцию записок, связанных с жизнью автора и его ближайшего окружения. В 2003 году вышла книга «Мысленно вами», в которой из обрывков воспоминаний, писем, семейных анекдотов, притч, документов, смешных и трагических историй составлена своего рода Книга жизни нескольких поколений. В 2005 году «НЛО» выпустило книгу Брускина

«Подробности письмом». Если в первой книге герой — автор, во второй два героя — автор и его жена Алеся, то в третьей герой вроде бы отсутствует. Или героев столько, сколько букв в русском алфавите. «Прямые и косвенные дополнения» — новая книга Гриши Брускина, многие ее персонажи уже знакомы читателю по предыдущим произведениям. Своего рода четвертая серия многосерийного фильма и в то же время самостоятельное произведение.

Издательство
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
В 2008 г. вышли:

«Художественная серия»

Микки Вульф
НЕСВОБОДА НЕБОСВОДА



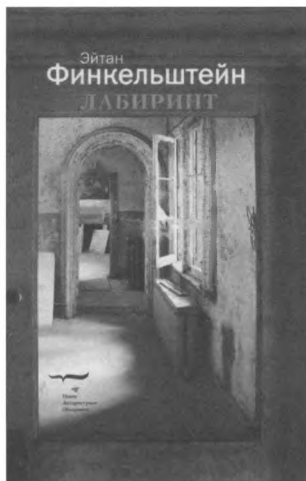
Первая книга прозы известного израильского журналиста, пишущего под псевдонимом Микки Вульф, включает в себя его тексты, публиковавшиеся в русской периодике Израиля. Собранные вместе, эти фрагменты приобретают новое качество: из них возникает автономный мир, в котором соединены средневековая и ветхозаветная история, сегодняшняя телевизионная хроника и личные воспоминания, Кишинёв и Москва, остро пахнущий одесский Лиман и ночь на улицах Тель-Авива, чувственность и интеллектуализм. Яростный, барочный стиль эссеистики Вульфа выламывается из привычных представлений о журналистском письме — это именно проза, стильная, насыщенная восторгом жизни и растерянностью перед ней, напоминающая о лучших образцах «южнорусской школы».

Издательство
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
В 2008 г. вышли:

«Художественная серия»

Эйтан Финкельштейн
ЛАБИРИНТ
Роман

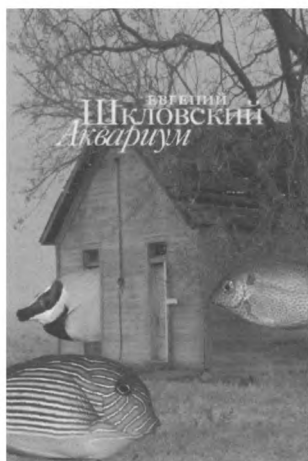
На страницах новой книги Эйдана Финкельштейна, автора романа «Пастухи фараона» (НЛО, 2006), живут люди, которые верили каждый в свою правду и готовы были жертвовать ради нее всем. Пламенный комсомолец-подпольщик спасает мальчиков из «буржуазных семей», заводские работяги в невероятных условиях куют оружие победы, ученые, скованные партийными цепями, делают важные открытия. Здесь спорят о будущем России, КГБ преследует диссидентов, священники ратуют за свободу веры, националисты — за независимость, сионисты — за возвращение на историческую родину, конформисты пытаются удержаться на плаву... Все это драматически преломляется в трудной судьбе главного героя, хлебнувшего лиха и в блокадном Ленинграде, и в лагере за инакомыслие, и в эмиграции...



Издательство
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
В 2008 г. вышли:

«Художественная серия»

Евгений Шкловский
АКВАРИУМ
Рассказы, роман



В новый сборник известного прозаика Евгения Шкловского, автора книг «Заложники» (1996), «Та страна» (2000), «Фата-моргана» (2004) и других, вошли рассказы последних лет, а так же роман «Нелюбимые дети». Сдержанная, чуть ироничная манера повествования автора, его изощренный психологизм погружают читателя в знакомый и вместе с тем загадочный мир повседневно человеческого существования. По словам критика, «мир Шкловского... полон тайного движения, отследить, обозначить едва уловимые метаморфозы, трещинами ползущие по реальности, — одна из основных его целей. Здесь что-то постоянно происходит, меняются пропорции, смещаются планы, рушатся и завязываются новые отношения между героями, иногда незаметно даже для них самих».

Издания

«Нового литературного обозрения»

(журналы и книги)

можно приобрести в следующих магазинах:

в Москве:

«Политкнига» — ул. Малая Дмитровка, 3/10. Тел.: (495)200-36-94

«Ad Marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., 5/7. Тел.: (495)951-93-60

«Библио-Глобус» — ул. Мясницкая, 6. Тел.: (495)924-46-80

«Гилея» — Нахимовский просп., 51/21. Тел.: (495)332-47-28

«Гнозис» — Зубовский проезд, 2, стр. 1. Тел.: (495)247-17-57

«Книжная лавка писателей» — ул. Кузнецкий Мост, 18.

Тел.: (495)924-46-45

«Молодая гвардия» — ул. Большая Полянка, 8. Тел.: (495)238-50-01

«Москва ТД» — ул. Тверская, 8. Тел.: (495)797-87-17

Московский Дом книги — Новый Арбат, 8 (а также во всех остальных магазинах сети).

Тел.: (495)203-82-42.

«Старый свет» (книжная лавка при Литинституте) —

Тверской бульвар, 25 Тел.: (495)202-86-08.

«Фаланстер» — Малый Гнезниковский пер., 12/27.

Тел.: (495)749-57-21

«У Кентавра» — Миусская пл., 6. Тел.: (495)250-65-46

«Букбери» — Никитский б-р, 17. Тел.: (495)291-83-03

«Русское зарубежье» — ул. Нижняя Радищевская, 8

(м. Таганская-кольцевая) Тел.: (495)915-11-45

Primum Versus — ул. Покровка, 27, стр. 1. Тел.: (495)951-93-60

Магазины сети «Книжный клуб 36'6». Тел.: (495)223-58-20

«Топ-книга». Тел.: (495)166-06-02

в Санкт-Петербурге:

«Академкнига» — Литейный пр., 57. Тел.: (812)230-13-28

«Александровская Библиотека» — Наб. реки Фонтанки, 15.

Тел.: (812) 310-50-36

«Вита Нова» — Менделеевская линия, 5. Тел.: (812)328-96-91

Книжная лавка писателей — Невский пр., 66. Тел.: (812)314-47-59

Книжные салоны при Российской национальной библиотеке

Садовая ул., 20; Московский пр., 165 . Тел.: (812)310-44-87

Книжный салон — Университетская наб., 11

(магазин в фойе филологического факультета СПбГУ).

Тел.: (812)328-95-11

Книжный магазин-клуб «Квилт» — Каменноостровский пр., 13.

Тел.: (812)232-33-07

«Культпросвет» — Пушкинская ул., 10 или Лиговский пр., 53.

Тел.: (812)572-11-30

«Перемещенные ценности» — ул. Колокольная, 1.

Тел.: (812)713-21-74

Подписные издания — Литейный пр., 57. Тел.: (812)273-50-53

ОАО «Санкт-Петербургский Дом Книги» — Невский пр., 62.

Тел.: (812)570-65-46, 314-58-88

ООО «Санкт-Петербургский Дом Книги» (Дом Зингера)

Невский пр., 28. Тел.: (812) 448-23-57

«Фонотека». Ул. Марата, 28. Тел.: (812)712-30-13

в Екатеринбурге:

Дом книги — ул. А. Валека, 12. Тел.: (343)358-12-00

в Нижнем Новгороде:

«Дирижабль» — Б. Покровская, 46. Тел.: (8312)31-64-71

в Ярославле:

ул. Свердлова, 9. В здании ЦСИ «АРС-ФОРУМ». Тел.: (0852)22-25-42

в Интернете:

www.ozon.ru

www.bolero.ru

Борис Иванов

Борис Иванов – человек необычайной цельности и прямоты. И поскольку стиль, как известно, – это человек, то и литература Бориса Иванова определяется этими же чертами. Писал ли он прозу, подписывал ли письма протеста, издавал ли подпольный журнал, – он всегда оставался равен себе.

Яков Гордин

Борис Иванов соединяет точность социальной характеристики с психологической достоверностью и настоящей человечностью. Борис Иванов – настоящий литератор, чья несомненная талантливость равняется столь же несомненной порядочности. Он – автор одной из лучших книг о 1960-х годах.

Никита Елисеев

Борис Иванов – легендарный питерский литератор и весьма своеобразный прозаик. Его стиль можно было бы назвать суровым, если бы сам материал его прозы не был бы столь лиричным. Этот контраст и образует особый терпкий воздух повествования. Эта проза пришла к читателю с запозданием. Но все-таки – пришла, и это замечательный факт литературной победы.

Наталья Иванова

ISBN 978-5-86793-666-2



9 785867 936662